

Е.С. Гриценко

**СТАНОВЛЕНИЕ
ГЕНДЕРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ
НАУКИ О ЯЗЫКЕ**

*Учебное пособие
для студентов и аспирантов*

**Нижний Новгород
2007**

Печатается по решению редакционно-издательского совета ГОУ ВПО НГЛУ

Специальность: филология, теория языка, лингвистика и межкультурная коммуникация

Дисциплина: общее языкознание, гендерная лингвистика

УДК (81'267.3 : 81.1)(075.8)

ББК 81.001.2

Г 858

Е.С. Гриценко. Становление гендерной лингвистики в контексте общего развития науки о языке: Учебное пособие для студентов и аспирантов. – Нижний Новгород: Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, 2007. – 121 с.

ISBN 978-5-85839-162-3

Пособие адресовано студентам и аспирантам филологических специальностей, изучающим гендерную специфику языка и коммуникации. В нем представлена история гендерной лингвистики, дана периодизация и систематизация когнитивных, этнолингвистических и социолингвистических гендерных исследований, проанализирована их методология. Обоснованы принципы современного подхода к изучению языка и гендера.

ISBN 978-5-85839-162-3

Рецензенты: А.В. Кирилина, докт. филол. наук, профессор (Москва)

В.М. Бухаров, докт. филол. наук, профессор (Н.Новгород)

© Издательство ГОУ ВПО НГЛУ, 2007

© Гриценко Е.С., 2007

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Введение</i>	5
<i>Часть 1. Структуралистская традиция в исследованиях языка и гендера</i>	6
1.1. Языковой знак. Понятие. Значение.....	7
1.2. Уровни знакообразования. Знаки культуры.....	11
1.3. Постструктуралистские концепции языка и гендер.....	12
1.4. Развитие идей постструктурализма в современной лингвистике. Критический дискурс-анализ. Идеология и значение.....	18
<i>Вопросы и задания</i>	23
<i>Часть 2. Когнитивная традиция в исследованиях языка и гендера</i>	23
2.1. Когнитивные механизмы конструирования гендера.....	25
2.2. Вклад когнитивной теории в разработку проблемы значения.....	31
<i>Вопросы и задания</i>	34
<i>Часть 3. Социокультурная традиция в исследованиях языка и гендера</i>	35
3.1. Гендер в антропологии и этнолингвистике.....	35
3.2. Социолингвистические исследования гендера.....	46
<i>Вопросы и задания</i>	59

<i>Часть 4. Критический анализ ранних гендерных исследований и обоснование современного подхода.....</i>	60
4.1. Интерпретация результатов гендерных исследований: дефицитность, доминирование, различие	60
4.2. Стереотипы в исследованиях языка и гендера	65
4.3. Принципы современного подхода к изучению языка и гендера. Понятия конструирования и практики	69
4.4. Исследования языкового конструирования гендера в различных социальных контекстах	74
4.4.1. Теоретические и методологические подходы	75
4.4.2. Гендерный дискурс в печатных СМИ	81
4.4.3. Гендер и социальная роль	89
4.4.4. Гендер и коммуникативная роль	90
4.4.5. Полифункциональность языковых форм и конструирование гендерной идентичности	92
4.4.6. Гендер и власть.....	96
4.4.7. Гендер и статус	99
4.4.8. Гендерные аспекты самоидентификации	101
<i>Вопросы и задания.....</i>	106
<i>Заключение.....</i>	107
<i>Литература.....</i>	109

ВВЕДЕНИЕ

Вторая половина XX века ознаменовалась значительным расширением сферы интересов языкознания, чему предшествовала смена подходов к языку как объекту изучения. Язык стал трактоваться не как система «в себе и для себя», а как динамичный антропоориентированный феномен – орудие мышления, средство и деятельность общения, инструмент получения знаний о человеке, культуре и обществе. Это способствовало росту междисциплинарного компонента в лингвистических исследованиях, в рамках которого сформировалась и динамично развивается гендерная лингвистика. Гендерный дискурс является неотъемлемой частью глобального культурного дискурса. Он определяет тенденции словоупотребления, служит основой смыслопостроения, оказывает влияние на грамматику и широкий спектр других вопросов, связанных с языком.

Системное изучение взаимодействия языка и гендера началось на Западе в 1970х годах. Исследователей интересовали в основном два вопроса: как говорят мужчины и женщины (гендерная специфика речи) и как говорят о мужчинах и женщинах (репрезентация мужского и женского в системе языка). Акцент ставился на том, что можно узнать о гендере, используя язык и лингвистические (лингвокультурологические) методы анализа; в меньшей мере учитывалось, что дает гендер для «приращения» собственно лингвистического знания. На это, в частности, указывает С. МакКоннел-Джине в обзоре раздела по языку и гендеру в «Cambridge Survey of Linguistics», объясняя незначительное влияние феминистской теории на фундаментальную лингвистику тем, что интерес к проблемам языка и гендера проистекал из желания понять гендер, а не из интереса к самому языку. Между тем, включение гендерного параметра в лингвистическое рассмотрение позволяет существенно расширить представления о языке как средстве конструирования социального мира.

Гендерная лингвистика как новое направление в изучении языка а развивалась в контексте актуальных для своего времени научных парадигм и традиций. Хотя язык в той или иной форме изучается уже более двух тысячелетий в виде грамматики (как правильно его использовать), риторики (как говорить/писать убедительно), поэтики (как используется язык в литературе/художественном творчестве), так называемое научное

исследование языка началось сравнительно недавно и связано с именем Ф. де Соссюра, предложившего как новый предмет изучения (языковой знак), так и новые принципы лингвистического анализа: разграничение языка как системы знаков (*langue*) и речи как конкретных звуковых актов (*parole*), означающего и означаемого, синхронии и диахронии и т.д. Идеи Соссюра оказались широко востребованными не только в лингвистике, но и в целом ряде смежных дисциплин (в культурологии, литературной критике, когнитивной психологии, теории коммуникации). Он считается основоположником нового научного направления семиологии (науки о знаках) и влиятельного в XX веке направления – структурализма.

Часть I

Структуралистская традиция в исследованиях языка и гендера

Структуралистский подход характеризует понимание языка как самодовлеющей системы, определяемой внутренними отношениями между составляющими ее элементами, и установкой на изучение языка как системы таких элементов (знаков), а не как социально-исторического и культурного феномена. Возникнув вследствие стремления к строгому (приближающемуся к точным наукам) формальному описанию языка, свое название данное направление получило благодаря особому вниманию к структуре языка, трактуемой как сеть отношений (противопоставлений) между языковыми знаками. Углубив научные представления об устройстве языка и разработав аппарат строгого описания его системы, структурная лингвистика растворилась в новых направлениях, вызванных к жизни продолжающимися теоретическими поисками. Ее методы и понятия (оппозиция, схема и др.) применяются в современной психо- и социолингвистике, в когнитивной лингвистике, а также в смежных гуманитарных дисциплинах – литературной критике, этнологии, социологии, на почве которых сформировался структурализм как философско-методологическая основа конкретно-научных гуманитарных исследований.

Значительное влияние на формирование современных подходов к изучению языка и гендера оказали идеи французского структурализма и

постструктурализма, связанные с именами Р. Барта, Ж. Дерриды, М. Фуко и Ж. Лакана. Эти исследователи не были лингвистами, однако в своих теориях уделяли значительное внимание роли языка и строили свои концепции, опираясь на постулаты разработанной Ф. де Соссюром теории языкового знака.

1.1. Языковой знак. Понятие. Значение

По Соссюру, языковой знак характеризуется отношениями взаимной зависимости означаемого (понятия) и означающего (акустического образа). Одним из основополагающих тезисов Соссюра является произвольность языкового знака, которая заключается в отсутствии какой-либо внутренней связи (обусловленности) между конкретным звуковым комплексом и обозначаемым им понятием. Соссюр акцентировал произвольность означающего, однако его концепция имплицитно включает и произвольность означаемого в смысле возможности иного членения (категоризации) реальности, где того или иного понятия могло бы и не быть¹. Концептуальная система и принципы ее классификации у Соссюра конвенциональны и познаются индивидом в процессе изучения языка.

Данный тезис широко востребован в постструктурализме для обоснования роли власти (идеологии) в формировании значений [Fairclough 1989: 93 – 97]. «Натурализацию» значений, в смысле признания их естественной связи с реальностью и невозможности другой категоризации (и знаковой системы), Пьер Бурдьё называл «неузнаванием произвольности» (*the misrecognition of arbitrariness*). В феминистской лингвистике на этом основана критика андроцентризма в языке и призывы к его реформированию.

Находясь в отношении постоянной опосредованной сознанием связи, две стороны языкового знака у Соссюра составляют устойчивое единство, которое посредством чувственно воспринимаемой формы знака (его материального носителя) репрезентирует социально приданное ему значение. По Соссюру, значением является то, что находится в отношении соответствия с акустическим образом. «Все происходит между

¹ Например, в системе классификации частей тела существование понятия «нос» кажется, естественным. Между тем, можно представить себе другую систему, где обозначение получит, например, часть лица между носом и верхней губой и т.д. [см. Fairclough 1989: 95]

акустическим образом и понятием в пределах слова, рассматриваемого как нечто самодовлеющее и замкнутое в себе» [Соссюр 1999: 114].

Высказывалось мнение, что значение уже понятия в том смысле, что оно включает лишь различительные черты объектов, тогда как понятия охватывают их более глубокие и сущностные свойства, имеют ядро, обеспечивающее устойчивость лексического значения, и размытую периферию, благодаря чему значения могут растягиваться, увеличиваться в охвате в рамках узуальных ассоциаций, внутренней формы слова и т.д. [Гак 1990: 262]. Представляется целесообразным кратко пояснить принятое в работе соотношение терминов «понятие», «значение» и прочно вошедшего в обиход современной лингвистической науки термина «концепт».

Речь не идет о том, чтобы дать однозначное и непротиворечивое определение данным терминам, выяснить их «истинное» значение. В спорах о значении терминов порой не учитывается, что членение языковой действительности лингвистикой подобно членению экстралингвистической действительности языком – членению различному в разных языках. К примеру, понятие предложения насчитывает сотни противоречивых характеристик по той причине, что этому термину отнюдь не соответствует что-то лингвистически определенное: содержание понятия варьирует от лингвиста к лингвисту. Проблематичность почти всякого постулирования лингвистических абсолютов (в том числе терминологических) в конечном счете обусловлена сложностью объекта, а именно – тем обстоятельством, что «язык есть естественная семиотическая система, адекватность которой постоянно изменяющейся социальной практике не предустановлена, а творится коллективом» [Скребнев 1971: 48]. Признавая конструируемость языка как объекта изучения, правомерно усомниться в постановке вопроса «что такое» значение/понятие/концепт, скорее следует решить вопрос, что мы условимся считать значением/понятием/концептом.

Традиционно значением слова называется его «содержание, отображающее и закрепляющее в сознании представление о предмете, свойстве, процессе» [Гак 1990: 261]. Лексическое значение – это продукт мыслительной деятельности человека, связанной с редукцией информации сознанием на основе сравнения, классификации, обобщения и т.д.

Термином «понятие» обозначают не только «мысль, отражающую в обобщенной форме предметы и явления посредством фиксации их свойств и отношений (т.е. общие и специфические признаки, соотносимые с классами предметов и явлений)», но и – метонимически – «сами такие классы, т.е. грамматические или семантические категории» [Степанов 1990: 384] или «принцип категоризации» [Тейлор 2002: 45]. В последнем случае имеется в виду то, что, говоря о человеке *спит*, *дремлет* или *храпит*, называя его *скупым* или *бережливым*, мы производим акт категоризации, и знание соответствующих слов (понятий и фонологических репрезентаций) предполагает знание критериев категоризации. Иначе говоря, понятие как «внутренняя репрезентация определенного класса опыта» [Звегинцев 2001: 227] включает то, что мы знаем о предмете (умея мысленно представить, правильно идентифицировать и обозначить словом соответствующий объект) и что позволяет делать умозаключения, например, в сосюрловской схеме знака – что дерево имеет корни, ветви и листья (по крайней мере летом), растет из земли, может жить дольше, чем человек, может быть срублено на дрова и т.п. В последние годы в этом значении, как правило, используется термин «концепт».

Понятие концепта получило в отечественной лингвистике множество толкований, которые отражают различные стороны рассматриваемого феномена, акцентируя когнитивные, семантические или социокультурные аспекты [Кубрякова 1991; 1992; 1994; Карасик 1996; Попова, Стернин 2001; Степанов 2001] либо трактуя его интегративно как многомерное культурно значимое социо-психическое образование в коллективном сознании, опредмеченное в той или иной языковой форме [Кирилина 2004: 140]. Указывается на соотносительность концепта как с понятием [Степанов 1997: 40; Карасик 1996: 6 – 7], так и со значением слова, которым становится концепт, «схваченный знаком» [КСКТ, с. 92]. По мысли Н.Д. Арутюновой, концепт является понятием практической философии и возникает в результате взаимодействия таких факторов, как национальная традиция, фольклор, религия, искусство, жизненный опыт, система ценностей. Таким образом, концепты образуют культурную среду, выступающую в качестве посредника между человеком и миром [Арутюнова 1999].

Особое внимание к содержанию и адекватной дефиниции концепта связано, в частности, с определенным терминологическим «конфликтом»: сосюрское «означаемое» в русском языке обозначается термином «понятие», в английском – термином «concept». Этим термином оперирует также широкий круг социальных наук, впитавших идеи знаковой теории Соссюра, в частности, когнитивная психология, откуда он, обогатившись новыми смыслами, был вновь востребован наукой о языке, где развивались новые направления – когнитивная лингвистика, этносемантика, лингвокультурология и др. Но если в английском языке речь шла лишь о семантической модификации (смысловых приращениях) термина «concept», то в русской терминологической системе появился новый термин, потребовавший содержательной делимитации. В этом смысле эволюция термина «концепт» сопоставима с историей термина «гендер» (gender), который изначально обозначал грамматическую категорию рода и в своем новом значении («социокультурный пол») «вернулся» в лингвистику из социальных наук.

Представляется обоснованной точка зрения, согласно которой понятие, концепт и значение слова относятся к однопорядковым категориям мышления, рассматриваемым, однако, в различных системах связей: значение – в системе языка; понятие – в системе логических отношений и форм, исследуемых как в языкознании, так и в философии; концепт – в лингвокультурологии, когнитивной психологии, социологии и т.д. [Гак 1990, Степанов 1990]. Соотносительность данных терминов не означает, однако, их кореферентности, поскольку они имеют разные сферы применения и акцентируют различные стороны означаемого. Термин «концепт» предпочтителен, когда речь идет о культурных репрезентациях (ср. «концепт – сгусток культуры в сознании человека» [Степанов 2001: 43]) и идеализированных когнитивных моделях как структурах представления знания (концепт как «глобальная единица структурированного знания» [Попова, Стернин 1999: 16]). Термин «значение» употребляется в контекстах, связанных со словом, как знаком языка.

С уходом от структурализма, определявшего содержание языкового знака в терминах отношений (противопоставлений) с другими элементами системы, меняется и трактовка проблемы значения. Консенсуальному значению, фиксируемому в дефиниции словаря, противопоставляется

значение, возникающее в дискурсе, в результате коммуникативного взаимодействия его участников – продуцирующего и интерпретирующего субъектов. Одним из первых шагов к такой трактовке значения стала знаковая теория Э. Бенвениста.

1.2 Уровни знакообразования.

Знаки культуры

В отличие от концепции Ф. де Соссюра, призывавшего изучать систему (*langue*) в отрыве от процесса коммуникации, Э. Бенвенист определил естественный язык как знаковое образование особого рода с двукратным означиванием его единиц и предложил концепцию членения языка в виде схемы уровней лингвистического анализа: в системе (первичное означивание, собственно семиологический принцип знакообразования) и в речи (вторичное означивание, принцип семантической интерпретации речевых единиц). Он разграничил два разных, но взаимообусловленных этапа языкового семиозиса: единицы первичного означивания (слова) должны быть опознаны, соотнесены с предметами и понятиями, которые они обозначают; единицы вторичного означивания (высказывания) должны быть поняты, соотнесены со смыслами, которые они несут [Бенвенист 1974].

Данный подход использовался в феминистской лингвистике для обоснования тезиса о том, что «в устах сексиста язык не может быть несексистским» [Cameron 1992: 106], т.е. сексистскими являются не сами значения слов, а тот смысл, который они могут приобретать в речевых контекстах. Например, ласкательное *dear*, не имея коннотаций неуважения в системе языка, может приобретать их, когда используется мужчинами по отношению к женщинам, с которыми они не находятся в близких отношениях [там же, с. 107].

Теория Э. Бенвениста исходит из возможности смыслового развертывания языкового знака в коммуникации. Аналогичную двухуровневую модель использовал Р. Барт, занимавшийся структурным анализом культурных репрезентаций в литературе, кино, фотографии, рекламе, музыке. Как критик литературы, Барт разграничивал художественные тексты, построенные на основе стабильного отношения означающего и означаемого, и тексты, для которых определяющим

является сам акт сигнификации (создания значения). Исследуя функционирование языков культуры, Барт уделял особое внимание вопросу их соотношения с идеологией. В книге «*Mythologies*» он анализирует как знак журнальную обложку, на которой изображен чернокожий солдат, отдающий честь французскому флагу. Это изображение является непосредственным означаемым данного знака. Однако, как подчеркивает Барт, данное означаемое само становится означаемым следующего, более абстрактного означаемого – идеологической пропозиции: раз есть патриотичный чернокожий солдат, значит французский империализм уже не является столь отвратительным, каким его пытаются представить [Barthes 1973].

Р. Барт одним из первых заявил о существовании фигурального языка идеологических пропозиций (мифологии). Когда означаемое, которое могло бы в принципе символизировать разные вещи, определенным образом интерпретируется и закрепляется за одним означаемым (например, чернокожий солдат, салютующий французскому флагу, символизирует патриотизм, а не принуждение), оно становится знаком культуры, включенным в систему других знаков, и союз означаемого и означаемого воспринимается как «естественный» и нерасторжимый. (Напомним, что Соссюр сравнивал знак с листом бумаги, одна сторона которого – означаемое, а другая означаемое). Данный подход помогает понять, почему, например, изображение обнаженной женщины (но не мужчины) ассоциируется с представлениями о сексуальной доступности и падении. Язык культурных мифов не абсолютно произволен, а отражает установки господствующей идеологии и культуры.

Осознание того, что структурализм сам по себе не может объяснить, как и почему те или иные слова (образы, знаки) приобретают особую значимость, сопровождалось развитием и переосмыслением соссюровской концепции языка в рамках постструктурализма и постмодернизма, заложивших основы понимания языка как средства конструирования социального мира.

1.3. Постструктуралистские концепции языка и гендер

Постструктурализм и постмодернизм – два разных, но связанных между собой интеллектуальных течения. Постструктурализмом называют

ряд теорий, использовавших в качестве исходных принципы структурной лингвистики Ф. де Соссюра (Ж. Деррида, Ж. Лакан, М. Фуко и др.). Ключевыми вопросами постструктурализма являются вопросы значения, субъективности и власти, а также языковая концепция реальности, суть которой заключается в признании того, что мир дан человеку в языке и познаваем только через язык.

Постмодернизм, как направление философской мысли, связывает с постструктуралистской теорией отказ от фундаментальных тезисов западного Просвещения – веры в рациональность человеческого прогресса, универсальные ценности и единственность истины. Речь идет об отказе от признания объективной истины и возможностей ее научного познания и признании того, что истина всегда опосредована интерпретирующим субъектом и легитимизируется отношениями власти. Другая особенность – переосмысление рациональной, стабильной и целостной субъективности, тезис о том, что в дискурсивных практиках индивид занимает различные субъектные позиции и, таким образом, признание конструируемости как субъекта, так и реальности.

Рассмотрим некоторые положения теоретиков постструктурализма, которые оказали значительное влияние на становление современных представлений о языке и гендере.

Деконструктивизм. Ж. Деррида

Французский философ Жак Деррида считается основоположником модели чтения, именуемой деконструктивизмом – анализа, применимого ко всем типам текстов (письма).

Взяв за основу принципы Ф. де Соссюра о произвольности языкового знака, определяемого через соотношение с другими элементами системы, Деррида указывает на произвольность значений в тексте, используя термин *differánce* (каламбурное обыгрывание двух французских слов «различие» и «откладывание»), для иллюстрации того, что значение слова является перманентно неопределенным: оно всегда определяется в терминах других значений, т.е. язык всегда соотносится только с языком. Два слова – например, «мужчина» и «женщина» – определяются как противоположные, при этом один из них определяется как основной (первичный) и самодостаточный, а другой – как вторичный и дополнительный. За данным определением, однако, скрыто то, что термин,

считающийся основным, сам конструируется относительно своей противоположности, так что мужчина определяется как «не-женщина». Деррида связывает эту модель с психоанализом Лакана: (мужской) субъект, определяет себя (обретает субъективность) путем отделения от Другого (Матери) и вхождения в сферу Закона (представляемого Отцом) [Derrida 1997; см. также Weedon 1996; Gamble 1999].

Деконструктивизм – это особая философия значения, в центре которой стоит вопрос о том, как значения конструируются писателями, текстами и читателями. Развивая идеи Ницше и Хайдеггера, Ж. Деррида критикует саму традицию философских поисков, связанных с познанием реальности. Он утверждает, что все тексты основаны на иерархическом дуализме элементов, бинарных оппозициях, в которых один из элементов рассматривается как истинно верный.

Все системы мысли, утверждает Деррида, имеют один центр. Так, традиционная система ценностей и взгляд на мир производятся с точки зрения «европейских белых мужчин»: сознание современного человека (независимо от пола) пропитано идеями и ценностями мужской идеологии, с приоритетом мужского начала, логики, рациональности и объектности женщин. Путем деконструкции (как способа прочтения) этот неосознаваемый и неартикулируемый центр (точка зрения) выявляется, и тем самым бинарные структуры, на которых основан текст, разрушаются; то, что казалось устойчивым и логичным, перестает быть таковым.

Поскольку деконструктивизм – атака на само существование логических теорий и концептуальных систем, он целенаправленно отвергает все рациональные определения и объяснения. Методика анализа основана на внимательном прочтении конкретных текстов и выявлении того, как эти тексты соотносятся с другими текстами. Именно это становилось объектом критики деконструктивизма со стороны некоторых ученых; вместе с тем, данная теория оказала огромное влияние на развитие философии, литературной критики и формирование новых методов, используемых в истории, социологии, искусствоведении, лингвистике.

В западной традиции феминистских и гендерных исследований доминирующим методом стала дерридеанская деконструкция гендера, понимаемая как анализ бинарных оппозиций *мужское vs женское*, где левосторонний элемент претендует на привилегированное положение,

отрицая притязания на такое же положение со стороны правостороннего элемента, в терминах которого он определяется.

Лакановская концепция языка

Ж. Лакан придавал исключительное значение языку, полагая, что язык – это единственная возможность для анализа бессознательного, ибо бессознательное структурировано так же, как язык. Его концепция, которую называют лингвистическим прочтением Фрейда, оказала огромное влияние на литературную критику и феминистскую теорию, послужив основой психоаналитических теорий женского сознания и идентичности, развиваемых в трудах французских теоретиков феминизма Э. Сиксу, Л. Иригарэ и Дж. Кристевой, анализ которых не входит в задачи данной работы. Обращение к концепции Лакана позволяет пояснить понятия субъективности и позиционирования, используемые в современных исследованиях языка и гендера.

Лакан, используя сосюрговскую модель языка, трактует язык как символический порядок – набор значений, которые определяют культуру и делают доступными позиции субъекта (*subject positions*). Вхождение в символический порядок – это момент, когда ребенок занимает позицию субъекта, т.е. осознает себя как личность, отдельная от тела Матери².

Позиция субъекта определяется как «культурно узнаваемое место, даваемое языком субъекту для позиционирования» [Cameron 1992: 161]. Термин «субъект», таким образом, оказывается каламбуром: будучи субъектом собственных действий и восприятий, социальный индивид оказывается в то же время субъектом для воздействия законов языка, который существует до его рождения и, говоря словами Ф. де Соссюра, находится вне индивида, который сам не может ни создать, ни изменить его [Соссюр 1999: 14]. Задача ребенка – войти в символический порядок, признать его и позиционировать себя в нем, чтобы уметь говорить как член культуры. По Лакану, именно процесс усвоения языка делает индивида субъектом культуры – иными словами, «язык предшествует и производит субъективность» [Code 2000: 398]. Гендерная субъективность у Лакана –

² Этот момент, решающий для появления структуры «я» как гендерной структуры, Лакан называет *стадией зеркала*: только когда ребенок видит свое отражение в зеркале, он начинает мыслить себя в качестве отдельного от матери существа. При этом, понимая себя как «я», ребенок одновременно понимает свое «я» как отчужденное, т.е. как «другое». [Лакан 1997]

это идентификация себя с позицией мужчины и женщины и соответствующее позиционирование (средствами языка).

Поскольку индивид может занимать различные субъектные позиции, он не является стабильным и целостным, а фрагментарным, находящимся постоянно «в процессе». Таким образом, традиционная концепция автономного, рационального субъекта с единой стержневой идентичностью уступает место пониманию субъекта как продукта дискурса – не источника, а получателя значений. Агентивность и способность к рациональному самоопределению видятся как иллюзорные продукты дискурсивных позиций субъекта.

Язык и власть. Понятие дискурса у Фуко

Значительное влияние на развитие постмодернистской мысли оказали идеи французского философа и историка М. Фуко. Он изучал системы знания, стремясь путем такой «археологии» знания выявить скрытые нормы и правила, которые управляют данными системами. Ключевым в концепции Фуко является понятие дискурса, как исторически детерминированной социальной формы организации и распространения знаний [Foucault 1972, 2002]. Знание, по Фуко, не возникает из сущности вещей, отражая внутренне присущую им истину. Дискурсы создаются историей и обществом. То, что определяется как истина, и кто дает определения, детерминировано отношениями власти в социальных институтах, доминирующие члены (структуры) которых осуществляют контроль над дискурсом, создавая определенный порядок. Они устанавливают границы и дают определения категориям. Не все субъекты находятся в равных отношениях к дискурсу как способу создания значений. Маргинальные и периферийные субъекты не имеют доступа к центру (или центрам), где значения фиксируются и получает статус определенная норма. Те, кто исключается из центра по признаку расы, касты, религии или пола, классифицируются/признаются нерелевантными для нормативных конвенций и обозначаются как Другое.

Уже в своей первой крупной работе, «Безумие и цивилизация» (1961), Фуко обозначил вопросы, определившие проблематику его научных поисков: интерес к маргинализированным группам и желание опровергнуть представление о едином, рациональном и автономном субъекте, господствовавшее в западноевропейской мысли, начиная с эпохи

Просвещения. Анализируя появление дискурса безумия (*discourse of madness*) в семнадцатом и восемнадцатом веках, сделавшего возможным институализацию безумия и контроль над ним со стороны государства, Фуко утверждает, что любая субъективность, будь она самой рациональной, является конструируемой и контролируется через сложные структуры власти, воплощенные в государственных аппаратах. Он подчеркивает, что дискурсы, в которых конструируется субъект, не являются универсальными, а всегда исторически специфичны.

В «Истории сексуальности» (1976 – 1984), Фуко обосновывает тезис о том, что сексуальное поведение не является врожденным, а управляется сложными идеологическими системами. Так, уже в древности сексуальная мораль – это «мораль, продуманная, написанная и преподаваемая мужчинами и к мужчинам обращенная» [Фуко 1996: 294]. Согласно Фуко, пол, как и все другие понятия, предстает человеку не в некоем естественном виде, а через язык – как результат дискурса, определяющего для говорящих субъектов их конкретные свойства и отведенные им роли. Речь идет о способности групп знаков (дискурсов) действовать как практики, систематически формирующие субъект, о котором говорят. Он, в частности, показывает, как идентификация женщины с репродуктивной функцией приводит к тому, что «женский субъект» (*female subject*) ограничивается сферой дома.

Идеи Фуко были использованы в феминистской критике и гендерной лингвистике для постановки конкретных практических задач: во-первых, раскрыть механизмы производства дискурсов, то есть понять, как дискурсивные практики создают и воспроизводят андроцентристские асимметрии в культуре и обществе; во-вторых, создать альтернативные дискурсы, в которых «женские» значения получают право на выражение (феминистский дискурс, женское письмо и т.п.).

Дальнейшее развитие в феминистской и гендерной теории получили также идеи Фуко о том, что даже биологические аспекты пола приобретают социальный характер и потому могут рассматриваться не как природные, а как социально и культурно обусловленные, и что гендерные отношения должны рассматриваться как форма проявления власти, ибо пол индивида является одним из элементов властных отношений (контроль над проявлениями пола осуществляется при помощи дискурсивных

практик – способов интерпретации тех или иных проблем, приписывания им общественной значимости).

1.4. Развитие идей постструктурализма в современной лингвистике.

Критический дискурс-анализ.

Идеология и значение

Философские идеи М. Фуко о роли языка в поддержании, производстве и изменении отношений власти легли в основу нового направления лингвистических исследований – критического изучения языка (частью которого является феминистская критика языка) или критического дискурс-анализа. Целью данного направления является анализ лингвистической составляющей социальных интеракций для выявления скрытых намерений и интересов в системе социальных отношений и результата их воздействия на эту систему. Его представители Н. Фэрклоу, Т. ван Дейк, Р. Водак и др. рассматривают язык как сферу экспликации постоянного противостояния различных социальных интересов (классовых, расовых, этнических, гендерных и др.) и видят свою задачу в выявлении и изучении на материале устных и письменных интеракций социальных причин и последствий манипулятивного и дискриминационного использования языка [Faiclough 1989; van Dijk 1988; 1993, 1996; Wodak 1989, 1999].

Решение этих задач потребовало переосмысления структуралистской концепции языка и отказа от изучения системы вне социального и культурного контекста. На смену соссюровской дихотомии *langue* и *parole*, с акцентом на изучении системы, а не ее реализации, пришло понимание языка как дискурса, как социальной практики, которая, будучи детерминирована социальными структурами, одновременно создает и воспроизводит их. Подверглись ревизии и другие принципы структурной лингвистики, в частности, признание социальной детерминированности системы языка, но не ее речевых проявлений. Последнее было недвусмысленно опровергнуто результатами социолингвистических исследований, показавших, что языковая вариативность не является продуктом индивидуального выбора, как полагал Соссюр, а связана с социальными идентичностями коммуникантов (возраст, статус, образование, гендер и др.), социально обусловленными целями общения и контекстом (ситуацией) общения.

Теоретики нового направления конкретизировали применительно к лингвистическому материалу понятие «позиция субъекта», предпочитая его термину «социальная роль»³ поскольку амбивалентность термина «субъект» (*subject*) отражает диалектику взаимодействия дискурса и общества: субъект действует в рамках ограничений, накладываемых на него социальными структурами (в том числе гендерными конвенциями), и, через воспроизводство этих структур и конвенций, сам оказывает влияние на них.

Понимание языка как дискурса, как социальной практики строится на трех постулатах: 1) язык – это часть общества; 2) язык – это социальный процесс и 3) язык это социально обусловленный процесс [Fairclough 1989: 22 – 25]. Перспективность дискурсивного подхода для изучения языкового конструирования гендера диктует необходимость остановиться на данных тезисах подробнее.

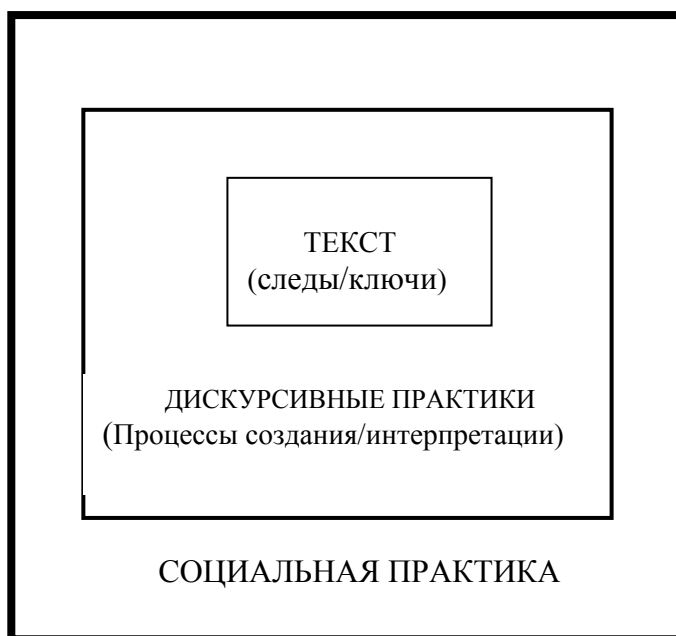
(1) *Язык – это часть общества, а не внешний по отношению к нему феномен.* Явления языка есть социальные явления, ибо любое использование языка обусловлено социальными конвенциями и имеет социальные последствия. С другой стороны, социальные явления есть (частично) явления языковые. Например, дискуссии о содержании понятий «демократия», «либерализм», «терроризм» – это не просто отражение политики, но сама политика, поскольку она протекает в языке и касается языка; создание слова *suffragette* (в дополнение к метагендерному *suffragist*) – не просто акт словотворчества, а акт дискредитация движения путем тривиализации его сторонников.

(2) *Язык - это социальный процесс.* С данным постулатом связано, в частности, разграничение понятий «дискурс» и «текст». Текст (то, что сказано или написано) – это продукт, а не процесс. Понятие «дискурс» включает весь процесс социальной интеракции, т.е. не только текст, но и процессы его создания и интерпретации. С точки зрения дискурсивного анализа, формальные элементы текста – это *следы* процесса создания и *ключи* в процессе интерпретации [Fairclough 1989: 24].

³ Понятия социальной роли, ролевого поведения и т.п. используются в полоролевом подходе к осмыслению отношений между полами, обоснованному в трудах Т. Парсонса и Р. Бейлза [Parsons, Bales 1949]. Типы ролевого поведения определяются социальным положением. Ролевые стереотипы усваиваются в процессе социализации и интериоризации норм или ролевых ожиданий. Исходным основанием полоролевого подхода является имплицитное признание биологического детерминизма ролей, отсылающее к фрейдистскому представлению о врожденном мужском и женском началах.

(3) *Язык – это социально обусловленный процесс* или, иначе говоря, процесс, обусловленный другими (нелингвистическими) составляющими общества. Создание и интерпретация текстов всегда происходит в определенном контексте, поэтому дискурс можно представить в виде трехчленной структуры: 1) *текст*, 2) *интеракция* (процесс создания и процесс интерпретации текста) и 3) *контекст* (социальные условия создания и интерпретации текста). Соответственно выделяются три взаимосвязанных измерения или стадии критического дискурс-анализа: 1) *описание* (рассмотрение формальных особенностей текста); 2) *интерпретация* (анализ текста как продукта создания и ресурса в процессе интерпретации) и 3) *объяснение* (анализ социальной детерминированности и социальных последствий интеракции). Последний этап Р. Водак именует «терапией» [Wodak 1989], имея в виду, что лингвистический анализ переносится в плоскость политических и социальных действий, или, говоря словами Т. ван Дейка, «критическая наука... поднимает вопросы ответственности, интересов и идеологии» [Van Dijk 1988: 4].

На схеме ниже приведена концепция дискурса, представляющая язык как форму социальной практики [Fairclough 1992: 73]:



В центре находится текст, содержащий языковые формы (граммемы, слова и т.п.), которые являются «следами» того, как текст был создан (произнесен или написан) и «ключами» к тому, как он может быть интерпретирован (прочтен или услышан). То, как конкретный

слушатель/читатель интерпретирует текст, зависит от ресурсов, имеющихся в его/ее распоряжении. Акцент на ресурсах подчеркивает, что тексты сами по себе не содержат фиксированных значений независимо от социального мира, в котором они циркулируют. Значение текста существует как потенциал (*meaning potential*); текст получает значение в процессе его интерпретации читателем/слушателем (причем это значение не является одинаковым для всех). Так как текст – это часть дискурсивной деятельности в конкретной ситуации, он находится *внутри* дискурсивных практик, которые кроме этого включают процессы его создания и интерпретации. Дискурсивные практики являются формой социальной практики, поскольку использование языка – это не индивидуальная деятельность, а социальный акт (см. выше). Трактовка дискурса как социальной практики предполагает учет более широкого социального контекста или «отношений между текстами, процессами и их социальными условиями – непосредственными условиями ситуативного контекста и более отдаленными условиями институциональных и социальных структур» [Fairclough 1989: 26].

В рамках критического дискурс-анализа получила дальнейшее развитие и философская трактовка дискурса в духе М. Фуко, где дискурсы определяются как «системно организованные наборы утверждений, дающие выражение значениям и ценностям институтов <...> они определяют, описывают и ограничивают, что можно и что нельзя сказать (и, соответственно, что можно и что нельзя делать) в сфере интересов данного института <...> Дискурс предлагает набор возможных заявлений о какой-то области, теме, объекте, процессе, могущем быть предметом разговора. Тем самым он дает описания, правила, разрешения и запрещения социальных и индивидуальных действий» [Kress 1985: 6 – 7].

Отношения языка и власти проявляются в борьбе идеологически оппозиционных дискурсов за возможность определять и поддерживать те или иные идеологические положения как общепринятые. Борьба оппозиционных дискурсов ведется за то, что французский антрополог Пьер Бурдьё назвал «признанием легитимности через непризнание произвольности», а Норман Фэрклоу «натурализацией дискурса», т.е. ситуацией, когда идеологически доминирующий дискурс становится воплощением здравого смысла, а оппозиционный – подавлен настолько,

что перестает восприниматься как один из возможных способов представления вещей.

Одним из измерений здравого смысла являются значения слов. Натурализация доминирующего дискурса становится возможной благодаря традиционному представлению о том, что слова имеют фиксированные значения, которые отражают их «истинный» смысл, кодифицируемый словарями. Н. Фэрклоу демонстрирует уязвимость такой трактовки на примере самого слова «идеология», значения которого существенно различались, например, в марксизме (идеи, возникающие на основе материальных интересов), и в послевоенной Америке, где слово «идеология» было фактически синонимом тоталитаризма [Fairclough 1989: 94]. По мысли Фэрклоу, натурализация доминирующего дискурса способствует «закрытию» или ограничению потенциально возможных значений путем их фиксации в словарях. Этот тезис созвучен идеям Д. Спендер об андроцентричности языковых значений, отражающих «мужскую» картину мира [Spender 1980]. Можно сказать, что основная цель критического изучения языка – анализ явных и неявных структурных отношений доминирования, дискриминации, власти и контроля, выраженных в языке – буквально совпадает с проблематикой лингвистических исследований, артикулирующих проблему языкового неравенства женщин и мужчин, характерных для первых двух этапов в исторической периодизации гендерных исследований: «алармистского» (разоблачение традиционной патриархатной идеологии) и этапа «феминистской концептуализации» (формирование феминистских направлений в социальных науках в рамках постмодернистской теории) [Кандиоти 1992; Кирилина 1999: 27 – 28].

Современный, «постфеминистский» этап (который характеризуется появлением «мужских» исследований и отказом от универсальных гендерных категорий), не отрицая, что конструирование гендерной идентичности и отношений происходит в рамках господствующей андроцентричной идеологии, где женский субъект отстранен от власти, исходит из того, что идеология гендерных различий не сводитсьном сопротивлении или согласии с этими ограничениями.

Вопросы и задания:

1. Какие постулаты теории языкового знака Ф. де Соссюра получили развитие в трудах постструктуралистов? Назовите основные принципы постструктуралистских концепций языка.
2. Как положение о конвенциональности концептуальной системы связано с критикой андроцентризма в языке?
3. Что такое деконструктивизм и какое влияние оказала данная теория на развитие феминистской лингвистики?
4. Как понимал язык Ж. Лакан? Поясните используемые им понятия «символический порядок», «субъект», «гендерная субъективность», «позиционирование»?
5. Какую роль в сознании социального порядка отводит языку М. Фуко? Что такое «дискурс» (по Фуко) и что есть «знание»?
6. Как использовались идеи М. Фуко в феминистской критике и гендерной теории?
7. Какие постулаты положены в основу понимания языка как дискурса (социальной практики)?
8. Назовите теоретиков критического дискурс-анализа и охарактеризуйте основные черты данного метода.
9. В чем проявляется взаимодействие языка и власти? Что называют «натурализацией дискурса»?
10. Как соотносятся идеология и значение? Приведите примеры определяющего влияния идеологии на значения слов.

Часть 2

Когнитивная традиция в исследованиях языка и гендера

Важный вклад в обоснование ментальных механизмов языкового конструирования гендера внесла когнитивная традиция. Ф. де Соссюр называл язык «мыслью, организованной в звучащей материи», и ни один лингвист не станет отрицать, что язык является в определенном смысле ментальным, когнитивным феноменом. Однако к середине XX века основанный Соссюром структурализм стал предельно формализованным, особенно в США, где, сформулировав в духе бихевиористской психологии

модель синхронного анализа языка, структуралисты (Л. Блумфилд и его школа) предложили дескриптивный метод, исключив как «ненаучный» критерий значения языковых форм. Упрощенное понимание языка, ограниченность проблематики и абсолютизация дистрибутивного аспекта привели к резкой критике такой «лингвистики без смысла» и появлению лингвистических теорий, активно обращающихся к семантике и когнитивным аспектам языка. «Когнитивный поворот» в американской лингвистике связывают с именем родоначальника генеративной грамматики Н. Хомского, полагавшего, что сформулированные им свойства порождения структур языка отражают структуры человеческого разума, и объявившего лингвистику одним из главных разделов психологии познания. Теория Хомского не является когнитивной в том смысле, который принят в отечественной и зарубежной лингвистике сегодня. Она построена по правилам своей внутренней логики, а не на основе научных данных о человеческом познании. Сформулированные им принципы – приоритет системы правил (*competence*) над употреблением языка (*performance*), отрицание роли социального и политического факторов и универсализация (т.е. поиск общих черт и игнорирование специфики конкретных языков) – контрпродуктивны в изучении языка и гендера. На них основывали свои аргументы противники феминистских реформ в языке, утверждая, что родовое (метагендерное) «he» имеет грамматическую, а не социальную природу⁴.

Среди лингвистов, обучавшихся в русле традиций Хомского, была и пионер феминистской лингвистики Робин Лакофф, принадлежавшая, по ее собственному признанию, к числу тех, кого интересовал «герменевтический потенциал генеративной грамматики», т.е. возможность путем анализа поверхностных языковых форм установить, что «действительно означают предложения на более глубоком уровне, почему говорящий делает тот или иной выбор и что значит этот выбор в плане характеристики самого говорящего» [Lakoff 2000: 5].

Исторический контекст работы Р. Лакофф «Язык и место женщины» [Lakoff 1975], положившей начало интенсивным гендерным исследованиям в современной лингвистике, связан с усилением

⁴ Речь идет о статье «Pronoun Envy», опубликованной в гарвардской «Gazette». Появившаяся вскоре после этого статья Энн Бодин, где рассказывалось об акте английского Парламента, которым было законодательно введено родовое he, а мужской род провозглашался «более достойным», чем женский [Bodine 1998], убедительно опровергла данный тезис.

противодействия влиянию Н. Хомского. Книга выросла на интеллектуальной почве, создавшей генеративную семантику – парадигму, которая бросила вызов трансформационной генеративной грамматике (автономной модели языка Хомского) и заявила о необходимости учета социального и культурного контекста в лингвистическом анализе [Lakoff 1989]. Формирование генеративной семантики объединило различные направления прагматики и заложило основы для развития других контекстуально-ориентированных подходов к изучению языка, в том числе когнитивной лингвистики, определяющей язык как неотъемлемую часть познания, проникнуть в суть которого можно лишь с учетом того, что известно о мышлении – будь то знания, полученные путем эксперимента, интроспекции или вытекающие из соображений здравого смысла.

Исследователи выделяют несколько когнитивных способностей (*cognitive capacities*), релевантных для изучения языковых явлений [Taylor 2002: 9 – 16]. Рассмотрим те из них, которые проливают свет на механизмы языкового конструирования гендера.

2.1. Когнитивные механизмы конструирования гендера

Категоризация

Функционирование человека в физическом и социальном мире зависит от сложнейшего процесса категоризации вещей, идей, процессов, социальных отношений и других людей. Индивид оперирует десятками тысяч категорий – от частных до высшей степени абстракции. Важнейшим свойством категоризации является гибкость, т.е. возможность модификации категорий в соответствии с новым опытом.

Хотя способность к категоризации, т.е. умение классифицировать и объединять явления, рассматриваемые как идентичные или в чем-либо сходные, в группы, а также способность определять, относится ли вновь обнаруженная реальность к выделенным группам, проявляется у человека очень рано, с возрастом она изменяется и приобретает более совершенный характер по мере накопления опыта, а, главное, с усвоением языка. Поэтому некоторые исследователи полагают, что категоризация – это лингвистическое явление. Ее результаты отражены в полнзначной лексике, а каждое полнзначное слово можно рассматривать как

отражающее отдельно взятую категорию со стоящими за ней многочисленными ее представителями [КСКТ, с. 42].

Знать слово – это уметь правильно применить его к референту, входящему в соответствующую категорию. Сам факт именованья может быть идеологическим инструментом (ср. «революция» vs «бунт», «бандиты» vs «повстанцы» и т.п.). Как замечает Дэвид Ли, «с учетом того, что язык есть инструмент отнесения явлений человеческого опыта к определенным категориям, он совершенно очевидно не может быть просто зеркалом, отражающим реальность. Скорее он накладывает (навязывает) свою структуру нашему восприятию мира» [Lee 1992: 8]. Такое понимание созвучно точке зрения на язык, принятой в современных исследованиях, где гендерные категории рассматриваются как продукты лингвистического конструирования (подробнее см. гл. 4).

Перцептивная организация «фигура – фон»

Данная когнитивная способность связана с концентрацией внимания. Фигура – это то, что находится в фокусе, на чем концентрируется внимание. Прототипом когнитивной организации *фигура – фон* является визуальное восприятие. Во всех случаях определенные аспекты (элементы) того, что мы видим, выступают на общем фоне: читая книгу, мы видим черные буквы (фигура) на белой странице (фон), а не наоборот; входя за чем-то комнату, из множества вещей видим именно ту, за которой пришли.

Организация «фигура – фон» лежит в основе оценки релевантности сообщаемого: мы автоматически обращаем внимание на то, что является в данной ситуации наиболее значимым (фигура). Концептуализация мужского и женского по принципу «нейтральное поле vs маркированный член» или феномен «стирания» немаркированной категории, рассматриваемый в главе 4, есть проявление данной когнитивной способности.

Имея непосредственное отношение к осмыслению ситуации и интерпретации сказанного, перцептивная организация «фигура – фон» актуальна для лингвистической семантики. Речь идет о способе организации определенной сцены (фрагмента «реальности») для ее лингвистического выражения. Выдвижение на первый план того или иного субъекта/информации (т.е. придание им статуса фигуры) может

существенно смещать смысловые акценты и оценки. Смену фигуры и фона, перемещение точки зрения и концентрацию внимания на определенных аспектах ситуации Р. Лангакер называет *профилированием*. Примеры манипуляций такого рода часто приводятся в статьях, анализирующих сексистские языковые практики криминальных колонок СМИ [Clark 1998; Mills 1995]. Так, в заголовке «Семилетняя девочка убита, пока мать была в баре» профилируется вина матери, а не убийцы [Clark 1998: 187].

Ментальная образность и конструирование

Организация «фигура – фон» – это лишь один из аспектов более широкого феномена – способности мысленно конструировать ситуацию альтернативными способами. Представляя явление/событие, мы можем варьировать количество конкретизирующих деталей, включать или исключать какие-то обстоятельства, характеризовать участников в целом или конкретно и представлять ситуацию с разных точек зрения.

Формулировки, используемые для лингвистического кодирования ситуации, зависят от того, как конструируется эта ситуация в сознании. В известном примере Р. Лангакера крыша «плавно спускается вниз» или «плавно поднимается вверх»⁵ в зависимости от того, какой ментальный образ (глядя сверху или глядя снизу) был сконструирован [Langacker 1988: 62]. Женщина-кандидат на выборах, комбинируя языковые ресурсы, может представлять себя как жертву, борца, мать, профессионала и т.д. (гл. 5). Идея ментального конструирования является ключевой для понимания гендера как динамичного, ситуативно обусловленного феномена, поддающегося социальному манипулированию и моделированию.

Метафора и эмпиризм (телесный опыт)

Метафора отвечает способности человека улавливать и самому создавать связи между разными классами объектов. Характер этих связей еще не оценен однозначно, но бесспорно то, что, как пишет Н.Д. Арутюнова, «эта способность играет громадную роль как в практическом, так и в теоретическом познании» [Арутюнова 1990(а): 15]. Ницше утверждал, что все познание метафорично и что «на самом деле мы

⁵ (1) The roof slopes gently downwards. (2) The roof slopes gently upwards.

обладаем лишь метафорами вещей, которые совершенно не соответствуют их первоначальным сущностям» [с. 11 – 12]. Позднее другой немецкий философ Э. Кассирер указывал на моделирующую функцию метафоры, которая, принимая участие в формировании представления об объекте, предопределяет, таким образом, способ и стиль мышления о нем. Эту идею убедительно развили Дж. Лакофф и М. Джонсон, показав, как метафоры структурируют наше восприятие, мышление и действия [Lakoff, Johnson 1980].

Метафора конструирует сферу абстрактного опыта в терминах физического, телесного опыта, и языковые воплощения «телесной метафоры» пронизывают весь язык. Наличие двух типов людей (мужчин и женщин) мотивировало название философских категорий мужественности и женственности, составив базу сравнения для метафоры, определяющей стереотипы обыденного создания и широко используемой применительно к объектам, не связанным с полом («женский цвет», «пиво с мужским характером»). Гендер может быть как источником, так и темой метафоры. Роль метафоры в гендерной категоризации анализируется в главе 4.

Концептуальные архетипы

Наряду с явными различиями между отдельными языками существуют и столь же разительные черты сходства (подобия), которые в основном касаются более высокого уровня абстракции. В этой связи Р. Лангакер говорит о концептуальных архетипах [Langacker 1999: 9]. Одним из таких архетипов (концептуальных универсалий), возникающих уже на первом году жизни человека является понятие «вещь». К концептуальным архетипам относят понятия «действие», «событие», «причинность», «одушевленность» [Mandler 1992], а также выделенные М. Джонсоном схемы-образы – вместилище, опора, сила и т.д.

Мужское и женское начала и соотнесенные с ними представления о мужественности и женственности встречаются во всех космогонических представлениях народов. В древнекитайской мифологии и натурфилософии это два противоположных начала – темное *инь* и светлое *ян*, практически всегда выступающие в парном сочетании. Вездесущность гендера, наличие во многих языках морфологических и лексических маркеров мужского и женского рода, способность осмысливать

неодушевленные предметы в терминах мужественности и женственности, а также характерная для многих культур связь основных движущих сил мироздания с мужским и женским началами позволяют рассматривать их как концептуальные архетипы.

Инференции (умозаключения)

Важной особенностью сознания является способность на основе фрагмента информации, обрывочных сведений и т.п. мгновенно восстанавливать возможную картину, восполнять недостающие данные, детали, приписывать действующим лицам неназванные мотивы и намерения, устанавливать причины на основе следствия и делать выводы о следствиях на основе имеющихся обстоятельств. Благодаря этой способности, интерпретация языковых выражений, как правило, выходит далеко за пределы фактически сказанного. И наоборот, выражая мысль в языке, нет нужды проговаривать все ее аспекты и детали. Можно обозначить главное и предоставить адресату додумать (сделать заключения) об остальном. Таким образом, инференции или умозаключения можно определить как механизм восстановления скрытой информации [Петрова 1988: 123]. Типичным случаем умозаключений является получение вывода на основе силлогизма.

Инференция рассматривается как важнейшее условие конструктивной деятельности при понимании текста, построении его ментальной модели, осознании связности (когерентности) [КСКТ, с. 33 – 35]. Так, смысл фразы «мальчишки есть мальчишки» не может быть понят путем буквальной «расшифровки» значений, ее составляющих. Вывод смысла осуществляется путем «достраивания» ситуации на основе гендерных знаний о мире (мальчишки задиристы/неаккуратны/бесшабашны), восполнения нужных логических связей и понимания того, *что* имплицитруется (неизбежность такого поведения, невозможность его изменить, готовность принять и т.п.).

Автоматизм

Еще одна особенность человеческого сознания связана со способностью к развитию автоматизма не только моторных, но и мыслительных операций. Речь идет об особых нейрокогнитивных механизмах, контролирующих действия, производимые неосознанно

(автоматически). В языке это прежде всего артикуляторные действия, а также конструирование сложных слов, построение фраз и т.д. в соответствии с общеизвестными и отработанными практиками.

Исследования психологов показали, что процессы гендерной категоризации и стереотипизации могут носить как осознанный, так и неосознанный (автоматический) характер. Этот вывод подтвержден экспериментами. В одном из них участникам предлагались слова-стимулы, обозначающие черты характера, предметы или явления («нежность», «балет», «бокс»), непосредственно за которыми следовали личные имена («Адам» или «Алиса»). Респонденты идентифицировали имена как мужские или женские быстрее в тех случаях, когда им предшествовали гендерно конгруэнтные стимулы. Аналогичные результаты были получены в эксперименте с личными местоимениями: скорость идентификации в случае гендерно совместимых пар («mechanic/механик» – «he/он») оказалась существенно выше, чем в случае гендерно несовместимых пар («nurse/медсестра» – «he/он») [Banaji, Hardin 1996]. Эксперимент на материале сербо-хорватского языка [Gurjanov, Lukatela, Savic and Turvey 1985], где в качестве стимула использовались притяжательные прилагательные с гендерно-маркированными окончаниями, также подтвердил зависимость скорости реакции от гендерной совместимости слова-стимула и слова-цели.

При предъявлении невербального стимула (картинки) скорость реакции респондентов была выше в случае взаимно-однозначных соответствий стимула и цели (т.е. в тех случаях, когда картинка изображала мужчину или женщину), однако эффект отмечался и при предъявлении стимулов, коннотирующих гендер (кухонная рукавица, боксерская перчатка и т.п.) [Lemm, Banaji 1999]. Последнее наблюдение представляется особенно важным, ибо показывает, что вербальные и визуальные образы, денотативно не связанные с гендером (например, пушистый котенок или рычащая собака), автоматически активизируют в сознании гендерные представления не через биологический пол стимула (пол котенка или собаки может быть просто неизвестен), а через черты, присущие стимулу – маленькие размеры, мягкость, слабость (ассоциируемые с женственностью) и крупные размеры, силу и агрессивность (приписываемые мужественности). При этом, как подчеркивают исследователи, пол самих участников эксперимента никак

не сказался на полученных результатах, что позволило сделать вывод о том, что автоматическая гендерная стереотипизация в одинаковой мере присуща и мужчинам, и женщинам.

Социальное поведение

Человек – существо социальное, и язык является одним из главных средств манифестации социальной (групповой) идентичности. Его символические ресурсы включают, в частности, гендерно детерминированные нормы и правила речевого поведения, которые индивид усваивает в процессе социализации, когда формируется привычка (навык) говорить «как мужчина» или «как женщина» и соответствующим образом интерпретировать речь других [Maltz, Borker 1982]. Важную роль в этом процессе играют гендерные стереотипы – культурно и социально обусловленные мнения о качествах, атрибутах и нормах поведения представителей обоих полов и их отражение в языке [СГТ, с.66]. Стереотипы выполняют роль программы поведения; они закреплены в коллективном сознании и меняются очень медленно. Роль стереотипов в гендерной категоризации анализируется в главе 4.

2.3. Вклад когнитивной теории в разработку проблемы значения

Когнитивная теория углубила современные представления о значении, связав его с механизмами сознания и акцентировав активную природу понимания – важный аспект идеи конструирования гендера в дискурсе.

Слова языка соотносятся со схемами (фреймами, скриптами, сценариями), так что употребление каждого слова соответствует части какой-либо схемы или активизирует некую схему. Значение слова определяется относительно его схемы («встроено» в нее). Например, слова «земля» и «суша» (*ground and land*) могут использоваться для обозначения одного и того же участка земной поверхности, но слово «земля» принадлежит вертикальной схеме (которая отделяет небо от земли), а слово суша к горизонтальной схеме (отделяющей сушу от моря). Этот пример принадлежит Ч. Филлмору, который утверждал, что «знать значение слова – это иметь представление о хотя бы каких-то деталях его схематизации» [Fillmore 1984: 89].

Чтобы понять слово так, как это задумал говорящий, или употребить его соответствующим образом, необходимо знать схему (или схемы), к которым оно принадлежит в данном конкретном контексте. Так, слово «человек» может определяться по крайней мере относительно двух типов когнитивных моделей. В рамках первой оно получает метагендерное значение, отделяясь от иных сущностей (*человек vs вещь, человек vs животное*), в рамках второй – гендерно маркированное значение, становясь синонимом слова «мужчина» (*молодой человек vs молодая женщина*).

Слова вызывают представления о системе значений, а нередко – как, например, в случае с метафорой (*«аппетитная женщина»*) – активизируют несколько систем сразу. Когнитивный подход к пониманию значения позволяет по-новому взглянуть на феномен многозначности. Варьирование плана содержания языковых единиц в рамках когнитивного подхода к семантике трактуется как трансформация исходного фрейма, осуществляющаяся в каждом конкретном акте речи в результате специфических когнитивных преобразований [Баранов, Добровольский, 1990: 455]. При таком подходе грани между собственно языковым и неязыковыми значениями стираются. Так, значения слова «*мужской*» (*«такой как у мужчины, характерный для мужчины»* [ТСРЯ, с. 369]) в разных контекстах существенно различаются, актуализируя те или иные стороны базового концепта (*мужское рукопожатие, мужская походка, мужской разговор, мужская дружба* и т.д.). Эти значения, хотя и не фиксируются словарем, конвенциональны, т.е. культурно и социально детерминированы и закреплены в соответствующих идиомах.

Значение может возникать в процессе его интерпретации участниками речевых интеракций. В тех случаях, когда традиционных и буквальных значений недостаточно, чтобы охватить ситуацию (событие, опыт), в действие вступает когнитивная способность дискурсивного конструирования значений. Даже самые простые слова/выражения могут приобретать новые значения в соответствии с ситуацией. Фраза «ты же мужчина», обращенная ко взрослому, может служить призывом к активным действиям, а адресованная ребенку – просьбой не плакать. Метафора «стальная улыбка» – имплицировать твердость и уверенность в описании мужчины и холодность в описании женщины и пр.

Дискурсивно конструируемые значения Г. Пальмер делит на ситуативные (*situated*) и эмерджентные (*emergent*) [Palmer 1996: 37]. В первом случае речь идет о взаимодействии традиционных языковых значений с конвенциональными ситуациями – «событиями употребления» (Р. Лангакер) – в результате чего конструируются значения, которые являются и конвенциональными, и соотнесенными с различными дискурсивными ситуациями (см. выше). Во втором – о схематизации относительно нового и незнакомого опыта и обработке/интерпретации его в терминах конвенциональных категорий.

Идентификация подобных значений требует внимания к идентичностям и опыту коммуникантов, а также к истории самого дискурса, как феномена, конструируемого участниками. Поскольку идентификация того, что является уместным, релевантным или значимым, часто зависит от точки зрения и социальной позиции, определение значения должно быть интерпретативным и принимать во внимание конструктивные схемы как говорящего, так и слушающего.

Как отмечал Р. Лангакер, «важная часть значения любого выражения включает оценку говорящим общего контекста (лингвистического, социального, культурного и интеракционного)», а поскольку «ничто не перемещается между говорящим и слушающим кроме звуковых волн» [Langacker 1987: 162], задача слушателя – «сконструировать разумную гипотезу о характере концептуализации, побудившей к высказыванию». Другими словами, «в любой момент дискурса интерпретатор должен осознавать сцены, образы или воспоминания, которые в данный момент активизируются» [Fillmore 1975: 80]. Индивид не просто «декодирует», а интерпретирует высказывание путем активного сопоставления его черт с репрезентациями, хранящимися в долговременной памяти. Эти репрезентации являются прототипами очертаний слов, грамматических моделей предложений, типичной структуры нарративов, характеристик объекта, лица, ожидаемой последовательности событий в конкретном типе ситуации.

Отметим, что феномен дискурсивно конструируемого значения имеет и иные терминологические обозначения. В.А. Звегинцев в этой связи говорит о значении и смысле: «Всякий раз, когда посредством языка осуществляется деятельность общения между одним человеком и другим, в обязательном порядке имеет место процесс обязательной актуализации

той «вещи», о которой идет речь. В результате <...> возникает смысловое содержание, рождающееся в предложении. А смысловое содержание не поддается кодификации, в частности, лингвистической. Оно – всегда результат творческого мыслительного усилия, так как формируется в неповторяющихся ситуациях, воплощая в себе соотнесение данной ситуации (или образующих ее вещей) с внутренней моделью мира, хранящейся в сознании человека. <...> Всякий раз, когда слово выступает в составе предложения, происходит актуальное порождение или, точнее, «возрождение» его значения, обусловленное смысловым содержанием данного предложения. Поэтому значение слова как элемент языка остается неизменным и тождественным самому себе, но как элемент предложения оно всегда иное. И именно поэтому значение слова, хотя оно и внутри языка, способно создавать смысл, который вне языка» [Звегинцев 2001: 176 – 177].

В «Кратком словаре когнитивных терминов» речь идет о *языковом значении* (значение единиц, хранимых как неразлагаемые (например, элементарные единицы словаря)) и *речевом значении* («вычисляемом» в результате интерпретации). *Смысл* выражения называется «актуализированное речевое значение в рамках сиюминутной ситуации интерпретирования» [КСКТ, с. 32].

В герменевтике смысл определяют как «такую конфигурацию связей и отношений между различными элементами ситуации деятельности и коммуникации, которая создается или восстанавливается человеком, понимающим текст сообщения» [Щедровицкий 1974: 91], подчеркивая идею конструируемости значений, актуальную для анализа той стороны языка, которая интересует нас в данном исследовании.

Вопросы и задания:

1. Что послужило толчком к «когнитивному повороту» в лингвистике?
2. Какие когнитивные механизмы участвуют в процессах языкового конструирования гендера?
3. В чем сущность категоризации? Как соотносятся процессы категоризации и именованя?
4. Правомерно ли считать категории продуктом лингвистического конструирования? Приведите примеры.

5. Какая когнитивная способность лежит в основе оценки релевантности сообщаемого? Что такое «профилирование»? Приведите примеры профилирования гендерных смыслов в СМИ и других видах дискурса.
6. В чем заключается моделирующая функция метафоры? Что такое гендерная метафора?
7. Что такое «концептуальный архетип»? Приведите примеры архетипов мужественности и женственности.
8. Определите понятие «гендерный стереотип». Приведите примеры автоматической (неосознанной) гендерной стереотипизации.
9. Что нового внесла когнитивная теория в разработку проблемы значения и понимания?
10. Как вы понимаете термин «дискурсивно конструируемые значения»? Как соотносятся понятия «значение» и «смысл»?

Часть 3

Социокультурная традиция в исследованиях языка и гендера

Если структуралистская традиция понимает язык как систему знаков и акцентирует его символическую функцию, а когнитивная лингвистика видит в нем один из аспектов познания, то в рамках социокультурной традиции язык трактуется прежде всего как посредник социальных отношений, выразитель социальной идентичности, хранитель культурных ценностей, средство воплощения (посредник) искусства и ритуалов. Эта традиция наиболее ярко реализуется в социолингвистике и антропологии, которая всегда была теснейшим образом связана с лингвистикой.

3.1. Гендер в антропологии и этнолингвистике

В антропологии язык традиционно рассматривался как средство понимания определенных аспектов культуры. Словарный состав языка того или иного народа воспринимался как отражение его отношения к миру и представлений о мире. Каталогизация терминов родства, названий растений, животных, божеств и т.д. – стандартная практика антропологических исследований. Ученые-антропологи первыми обратили

внимание и на половые различия в языке⁶, отметив, что в некоторых традиционных племенных культурах для обозначения одних и тех же понятий и предметов мужчины и женщины используют разные слова, а иногда имеют место систематические звуковые различия в мужских и женских формах слов (например, в речи мужчин племени карайа в Бразилии отсутствуют звуки [k] и [ku] [Talbot 1998]).

Американский лингвист и антрополог Э. Сепир исследовал различия, имплицитные социальную идентичность (*person implications*) в языках американских индейцев. Он, в частности, описал язык индейского племени яна в Калифорнии, где слова, используемые мужчинами в общении между собой, бывают длиннее, чем в общей разновидности языка (благодаря добавлению суффикса /-na/), но в большинстве случаев слова общего языка являются усечением слов мужского языка. Сепир интерпретировал эти различия как речевую сигнализацию пола и сделал вывод о том, что пол говорящего маркируется индексально и облигаторно в морфологии, что подтвердилось дальнейшими исследованиями индейских языков. Например, М. Хаас установила, что в языке племени касати пол говорящего маркирован глагольной формой: если женская форма заканчивается на носовой гласный, в конце мужской появляется согласный –s и т.д. [Coates 1992: 39 – 40].

Гендерные различия в «цивилизованных» языках Европы стали предметом рассмотрения в работах О. Есперсена и Ф. Маутнера. Их рассуждения на эту тему во многом спекулятивны и отражают стереотипы и предрассудки своего времени. Так, в книге Есперсена «Язык. Его природа, развитие и происхождение» глава «Женщина» включена в часть «Индивид и мир» в одном ряду с главами «Пиджин» и «Иностранец», что предполагает, что женский язык воспринимается автором как отклонение от нормы. Несмотря на общий джентльменский тон (Есперсен, например, отмечает, что женская речь способствует чистоте языка, ибо женщины инстинктивно избегают употребления грубых и бранных форм), в книге есть и тенденциозные («сексистские») утверждения. Например, мужчинам приписывается творческое начало в языке в силу их более высоких интеллектуальных способностей, а также утверждается, что у женщин более ограниченный словарь, да и тот они не всегда используют правильно

⁶ Информация об этом поступала еще в XVII в., однако системные исследования в этой области начались лишь во второй половине XX в.

(*with disregard of their proper meaning*) [Jespersen 1998]. Речь, кстати, идет о ставшем частью коллоквиальной нормы современного английского языка употреблении наречий-интенсификаторов – *awfully pretty, terribly nice*.

Заслужив Ф. Маутнера, изучавшего мужское и женское речевое поведение в различных социальных группах, является то, что он соотнес гендерную вариативность в языке с социальными причинами. Возникновение «женского» языка Маутнер связывал с историческими традициями античного театра, где женские роли исполняли мужчины. Лишь с появлением на сцене женщин в технике драматургии произошли изменения, давшие возможность «звучать» и женскому варианту языка – иначе говоря, общество восприняло «женский» язык тогда, когда женщинам позволено было выступать.

В данный период, исходным пунктом интерпретации признаков полового диморфизма в языке и речи, как правило, была их природная обусловленность, и лишь значительно позднее антропологи стали уделять внимание исследованию социальных причин полового диморфизма.

Язык и мировоззрение. Роль гипотезы лингвистической относительности в гендерных исследованиях

В первой половине XX века американские антропологи, изучавшие языки американских индейцев, сопоставляя их с материалом европейских языков, пришли к заключению о несоизмеримости членения опыта в разных языках, об относительности понятий и в целом формы мышления. Это положение легло в основу гипотезы лингвистической относительности Сепира – Уорфа, согласно которой языки могут сильно различаться в плане категоризации мира (не существует одного универсального стандарта, определяющего, какие концептуальные различия должен формировать язык). Как отмечал Сепир, «мы видим, слышим и вообще воспринимаем окружающий мир именно так, а не иначе, главным образом благодаря тому, что наш выбор при его интерпретации предопределяется языковыми привычками нашего общества <...> для нормального человека всякий опыт пропитан вербализмом», так «... как будто первичным миром реальности является словесный мир» [Сепир 1993: 261, 228]. Закономерна в этой связи интерпретация Э. Сепиром культуры:

«культуру можно определить как то, что данное общество делает и думает. Язык же есть то, как думают» [с. 193].

Еще более определенны высказывания Л.Б. Уорфа: «Мы выделяем в мире явлений те или иные категории и типы совсем не потому, что они (эти категории и типы) самоочевидны: напротив, мир предстает перед нами как калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть организован нашим сознанием, а значит, в основном – языковой системой, хранящейся в нашем сознании. Мы расчлняем мир, организуем его восприятие и распределяем значения так, а не иначе в основном потому, что мы – участники соглашения, предписывающего подобную систематизацию. Это соглашение имеет силу для определенного речевого коллектива и закреплено в системе моделей нашего языка» [цит. по: Зубкова 2003: 115].

Мысль о том, что язык способен оказывать влияние на мировоззрение, высказывалась еще В. Гумбольдтом и активно развивалась в рамках неогумбольдтианской школы (Л. Вайсгербер). По Гумбольдту, «сущность языка состоит в том, чтобы отлить в форму мыслей материю мира вещей и явлений». Внутренняя форма языка дает субъективный образ объективного мира, а потому «значительная часть содержания языка... находится в неоспоримой зависимости от этого языка» [Гумбольдт 1984: 317, 318]. Язык не только создает некий образ мира, но и оказывает действительное влияние на мысли и поступки людей и на развитие общества в целом.

Хотя популярность гипотезы Сепира – Уорфа существенно снизилась с развитием когнитивной лингвистики и изучением универсалий, понятие языковой относительности оказалось востребованным современными феминистскими исследователями, которые использовали ее для обоснования собственных теорий. На ее основе было сформулировано по крайней мере три вывода, определивших содержательно и методологически направление многих лингвистических работ 1970 – 80-х гг.

Радикальные феминистские лингвистические теории исходят из того, что (1) язык определяет или, в более сдержанной формулировке, накладывает существенные ограничения на восприятие и мышление, а следовательно, на реальность; (2) мужчины контролируют язык так же, как они контролируют ресурсы в патриархальном обществе, т.е. определяют

значения и нормы употребления, что способствует сохранению мизогинистского мировоззрения. Кроме того, феминистские теоретики заявляют, что (3) женщины поставлены в неблагоприятное, невыгодное положение как пользователи языка. Они вынуждены использовать мужской язык, что искажает их опыт и не дает адекватных возможностей для самовыражения (тезис об «отчуждении» женщин от языка).

Как видим, в феминистском развитии идей Сепира и Уорфа есть много элементов упрощенчества и преувеличения. Известно, что авторы гипотезы говорили в основном о грамматических формах и структурах, которые могут выступать в роли незамечаемого «фона» (*background*) для мышления и восприятия. На примере передачи впечатления от падения камня средствами английского, немецкого, французского, русского и ряда индейский языков, Э. Сепир, например, показывал, «... сколь многое может быть добавлено к нашей форме выражения, изъято из нее или перегруппировано в ней без существенного изменения реального содержания нашего сообщения об этом физическом факте <...> а лишь в зависимости от наличия/отсутствия грамматических категорий рода, числа, одушевленности/неодушевленности, определенности/неопределенности, времени или вследствие лексической неэквивалентности (например, в отсутствие глагола, соответствующего понятию «падать» в языке нутка)» [Сепир 1993: 256 – 258].

Наиболее близка по духу к такому видению концепция деривационного мышления (*derivational thinking*) американского лингвиста и антрополога М. Дж. Хардман [Hardman 1996]. Андроцентризм английского языка и вторичный («производный») статус женщин в английской языковой картине мира она напрямую связывает с его грамматическим строем, в частности, с наличием категорий числа (оппозиция «один – много»), степеней сравнения, порядком слов, ассоциацией мужского с активной позицией субъекта, а женского – объекта, метагендерным использованием местоимения *he* и существительного *man*, традицией брать фамилию мужа в браке, а также бытующими в обществе стандартами оценки, в соответствии с которыми то, что хорошо для женщин, не может быть хорошо для мужчин. В одной из своих статей исследовательница рассказывает историю о том, что когда девушка прыгнула с высокой скалы, у юношей это перестало считаться знаком мужественности («ведь это может даже женщина»).

М. Дж. Хардман сравнивает английский язык с реконструированным ею языком южноамериканских индейцев джака, в котором нет грамматической категории рода (ей соответствует категория «живое – неживое»), а также отсутствует категория числа (в понимании европейских языков) и степеней сравнения (у данного народа вообще не принято сравнивать людей). В традиционной культуре джака нет понятия о том, что только мужчина может быть главой семьи; женщины там всегда имели право владеть землей и т.д. Прожив много лет среди этого народа, М. Дж. Хардман имела возможность наблюдать, как менялось эгалитарное устройство общества по мере проникновения европейских традиций.

Работа Хардман дает перспективный материал для обоснования разной степени андроцентричности языков и культур, хотя сама она прямо не делает такого вывода. Приоритет в обосновании данной гипотезы принадлежит отечественным ученым. Исследования А.В. Кирилиной по сопоставительному анализу немецкой и русской фразеологии показали, что в русском языке более широко и в целом более позитивно, чем в немецком, представлены «социальные роли, степени родства, этапы жизни женщины, ее разнообразные задачи и умения» [Кирилина 1999: 106 – 143]. Анализ паремиологического фонда продемонстрировал наличие «женского голоса» и женского мировидения в картине мира, создаваемой русской паремиологией (чего в немецком материале зафиксировано не было), а также то, что образ женщины на аксиологической шкале коннотирован отрицательно далеко не всегда [с. 110 – 112]. Было установлено, что «русской женственности не свойственна слабость и беспомощность» [с. 142] и пр. Сопоставительный анализ ассоциативной картины мира русских и англичан позволил выявить в целом более позитивную оценку в русском материале женского интеллекта: слова «умная» чаще ассоциируется с женщиной, как и «красота» [Уфимцева 1996: 152 – 153].

В западной феминистской лингвистической традиции наиболее известными трудами, построенными на радикальной версии гипотезы Сепира – Уорфа, являются работы Д. Спендер и М. Дейли, которые в значительной мере опирались на социологическую теорию Арденеров.

«Безгласные» женщины и «язык, сделанный мужчиной»

Одну из влиятельных моделей функционирования языка в культуре и точку зрения на роль гендера в этом процессе предложили британские

социологи Эдвин и Ширли Арденер. Сами они не принадлежат к радикальной феминистской традиции, но их идеи были восприняты и развиты Мери Дейли и Черис Крамери, представляющими парадигму доминирования в гендерных исследованиях.

Основная мысль Арденеров заключается в том, что хотя каждая социальная группа имеет свое понимание общества, не каждая группа получает возможность публично артикулировать эти идеи. Способы и средства языкового выражения контролируются доминирующей группой, а менее влиятельные группы становятся немymi, «безгласными» (*muted*), их «реальность» не получает репрезентации. Вот как пишет об этом Ширли Арденер: «В любом обществе существуют господствующие (*dominant*) способы выражения, создаваемые доминирующими в нем структурами. В любой ситуации «слушают» и «слышат» лишь доминирующий способ выражения. Лишенная голоса группа (*muted group*) в любом контексте должна выражать себя в терминах доминирующего способа, а не той модели выражения, которую она могла бы создать сама» [цит. по: Cameron 1992: 141].

Безгласной группой, о которой, в частности, пишут Арденеры, являются женщины. У женщин есть другая реальность, но они вынуждены кодировать (выражать) ее в терминах «мужской реальности». При этом речь не идет о полном молчании. Как подчеркивает Ш. Арденер, «Они [безгласная группа. – Е.Г.] могут говорить много и часто. Важно, однако, располагают ли они возможностью сказать все, что хотят, так и когда они этого хотят» [там же]. Таким образом, у Арденеров, женщины имеют как свою модель мира, так и возможность пользоваться языком. Проблема заключается в том, что эти две модели не совпадают, тогда как у мужчин язык и реальность совпадают без проблем.

Ч. Крамери, приняв эту концепцию за основу для анализа, выдвигает несколько гипотез, которые затем рассматривает эмпирически. По мнению Крамери, женщинам легче понять мужчин, чем наоборот, поскольку они должны понимать доминантную модель выражения для перевода своего опыта в приемлемую форму (чего мужчинам делать не приходится). Женщины выражают больше неудовлетворения существующими способами языкового выражения и ищут альтернативные модели. Они испытывают больше трудностей в публичной речи; у них отличное от мужчин чувство юмора. В подтверждение своих гипотез Крамери

приводит, в частности, данные социологических опросов и клинических практик, где мужчины постоянно выражают удивление по поводу того, что говорят женщины и чего они хотят [Kramarae 1981].

Другая представительница радикальной феминистской традиции США, Мери Дэйли, также находившаяся под влиянием теории Арденеров, свою цель видит в буквальном разрушении доминирующих (патриархатных) канонов и моделей языкового выражения. На основе существующих в языке слов, путем их расчленения, усечения и каламбурного обыгрывания, она создает новые лексемы, отражающие «женский голос» и взгляд [Daly 1978]. Многие неологизмы Дейли ныне широко известны, став частью не только гендерного, но и более широко англоязычного культурного дискурса. Так, в слове *history* («история») путем реверсии было выделено два компонента – *his* («его») и *story* («история»), затем «мужское» местоимение *his* заменено на «женское» *her*. Полученный таким образом неологизм *herstory* выражает призыв пересмотреть историю, включив в нее и женщин (рассказать женскую историю человечества). И хотя слово *herstory* не вошло в широкий лингвистический обиход, в сети Интернет создан ряд сайтов с таким названием, которые посвящены женщинам, внесшим вклад в историю и не получившим достойного отражения в ней. Подтверждением актуальности слова *herstory* для современного языкового сознания можно считать и появление его «мужского» аналога *Hisstory* (название недавно созданной туалетной воды для мужчин).

В словаре М. Дейли «Webster's First New Intergalactic Wickedary of the English Language» многие общеизвестные слова получают новые дефиниции путем буквального прочтения кодирующих их наименований: слово *home* («дом») определяется как «место работы большинства женщин» (*most women's place of work*), а слово *homesick* (букв. «тоскующий/скучающий по дому») как 1) *sickened by the home* («испытывать тошноту от дома»); 2) *sick of the home; healthily motivated to escape the patriarchal home and family* («уставать от дома, испытывать здоровое желание сбежать из патриархального дома и семьи»).

С лингвистической точки зрения неологизмы Дейли интересны тем, что она экспериментирует с внутренней формой «схваченного» словом концепта. Напомним, что, по мнению Ю.С. Степанова, концепт имеет трехуровневую структуру: 1) основной, актуальный признак; 2)

дополнительные, «пассивные» признаки, являющиеся историческими; 3) внутренняя форма, запечатленная во внешней, словесной форме [Степанов 2001: 44] или этимологический признак, который, по Степанову, релевантен лишь для ученых и ими обнаруживается. Феминистское словотворчество, на наш взгляд, не только доказывает правомерность предложенного Ю.С. Степановым выделения внутренней формы концепта как компонента его структуры, но и является своеобразным подтверждением мнения, высказанного А.В. Кирилиной [см. также Телия 1996; Баранов, Добровольский 1998], что внутренняя форма концепта, запечатленная в знаке, все же может в большей или меньшей степени осознаваться носителями языка.

Еще одной ключевой для феминистской теории работой, основанной на радикальном прочтении гипотезы Сепира-Уорфа, является книга Дейл Спендер «Мужчина сделал язык» (*Man Made Language*) [Spender 1980]. Ее основная идея – разоблачение андроцентризма языка, где, по мысли Спендер, мужчины контролируют значения слов (дают их определения и интерпретацию), навязывая через язык мужское видение мира. «Язык, – пишет Спендер, – есть средство классификации и упорядочения мира: средство манипулирования реальностью. <...> Именно язык определяет пределы нашего мира и конструирует нашу реальность. Люди не могут адекватно описать мир, потому что для этого нужно иметь систему классификации. Но как только у них появляется эта система, как только у них появляется язык, они способны видеть лишь навязанные им вещи» [Spender 1980: 139]. Аргументируя свой взгляд на конструирование патриархатного порядка, Спендер использует терминологию Ж. Лакана: «Рождаясь мы попадаем в символический порядок и, становясь членами общества, входя в значения, репрезентируемые символами, мы тоже начинаем структурировать мир, подводя его под существующие символы; мы входим в патриархатный порядок и тем самым даем ему бытие, мы помогаем ему осуществиться» [с. 4].

В обоснование своей точки зрения Д. Спендер приводит многочисленные лексические примеры, подчеркивая, что речь идет не просто об андроцентристском определении лингвистических терминов, но о создании базовой классификационной системы, в рамках которой интерпретируются понятия и выражения. Так, слово «материнство» в патриархатной традиции определяется исключительно позитивно, так что

другие стороны женского опыта, связанные с этим понятием, не могут быть выражены в языке: можно сказать *happy motherhood* («счастливое материнство»), но недопустима сочетаемость *unhappy motherhood* («несчастное/несчастливое материнство»). Мужскую перспективу отражает и значение слова *work* («работа») – «оплачиваемый труд, выполняемый вне дома», ср: «У нее грудной ребенок, она не работает». Источником вновь создаваемых слов, по мнению Спендер, является скорее точка зрения именуемого, нежели особенности самой именуемой вещи. Со ссылкой на работу Дж. Арчера, она описывает создание новых терминов группой психологов, изучавших гендерные особенности восприятия стимула в окружающем поле. В разработанном ими эксперименте участники могли либо вычленив стимул (фигуру) из окружающего контекста, либо воспринять все поле в целом. Женщины чаще воспринимали стимул и поле как целое, мужчины же вычленили стимул из контекста. Поведение мужчин получило название *field independence* («поле-независимость»), а поведение женщин – *field dependence* («поле-зависимость»), что коннотировало ущербность женского восприятия. Однако, как замечает Спендер, тот же самый феномен можно назвать терминами *context awareness* («осознание контекста») и *context blindness* («контекстуальная слепота»), имплицитно превосходство женского и ущербность мужского восприятия. «Любое имя отражает предвзятость и процесс именованья кодирует эту предвзятость, определяя, что подчеркнуть, а что не заметить», – заключает Спендер [Spender 1998: 98].

Поскольку слова кодируют мужской опыт, женщины вынуждены либо пользоваться чуждыми им словами (тезис об отчуждении женщин от языка – *alienation of women*) или отказаться от языка вообще (*silencing of women*). В основе мужской власти в языке, по Спендер, лежит идея о мужском превосходстве, как несомненной естественной данности. Если поколебать незыблемость подобных представлений, оспорив, например, определения каких-то понятий, мужчины перейдут в оборонительную позицию, что подтолкнет женщин к «наступлению», поскольку власть мужчин уже не будет рассматриваться как естественная и справедливая. Таким образом, феминистская лингвистическая теория получает выход в феминистскую политическую практику, ставя вопрос о сопротивлении, противодействии (*resistance*) мужскому контролю над языком. Эта идея

получила дальнейшее развитие в феминистской стилистике и литературной критике (теория «чтения-сопротивления» (*resistant reading*) Джудит Феттерлей) [Fetterley 1981].

Работа Д. Спендер проникнута политическим пафосом и уязвима для лингвистической критики. Ее неоднократно упрекали за непоследовательность в употреблении термина «значение» и произвольность в толковании других лингвистических терминов («структура», «слово», символ»). Критики Спендер справедливо указывали на чересчур прямолинейное представление о доминировании мужского начала в языке и неправомерность понимания его как монолитной системы, нормы которой низводят индивида до роли механического воспроизводителя правил языка [Talbot 1996: 48]. Вместе с тем, следует признать, что работы Спендер акцентировали агентивность человека в языке, роль «человеческого фактора» в создании значений.

В конце XX в. лингвистическая антропология смещает акценты с раскрытия мировоззрения путем анализа структур языка на изучение вербального поведения, характерного для определенных культур или субкультур, выявление закономерностей и норм, регулирующих речевые события. Данное направление получило название этнографии речи (*ethnography of speaking*). Термин был введен еще в 1960х гг. Д. Хаймсом для обозначения исследований речевых форм и моделей конкретной языковой общности в отличие от изучения языка как гомогенной системы. Хаймс обратил внимание на то, что речевые ритуалы во многих культурах носят гендерно детерминированный характер. Право говорить не просто дается или не дается определенным категориям лиц, но связано с конкретными ситуациями и действиями этих лиц. Например, в культуре одного из индейских племен Чили, когда молодая жена входит в дом мужа, она должна некоторое время молчать. «Речь мужчин поощряется во всех ситуациях и считается проявлением мужского ума и лидерства. Идеальная женщина – тиха и покорна, она молчит в присутствии мужа. На общих собраниях мужчины говорят очень много, женщины же тихо сидят рядом, переговариваясь лишь шепотом, или молчат» [Hymes 1972: 45].

В рамках этнографии речи были выполнены многочисленные исследования на материале различных языков, существенно расширившие научные представления о взаимодействии языка, гендера и культуры: речевая культура и стратегии вежливости в языке мексиканских индейцев

племени майя [Brown 1980], различные типы женского коммуникативного поведения [Jones 1990; Coates 1988; 1996], гендерные переключения в речевой культуре индийских хиджра [Hall, O'Donovan 1996], гендерная социолингвистическая составляющая молодежных субкультур в Испании [Pujolar, 2001], гендер в вербальном поведении полицейских Филадельфии [McElhinni 1995], речевое поведение женщин-руководителей в японском языке и культуре [Sunaoshi 1994] и др. Большинство из этих работ используют подходы и методы социолингвистики и нередко относятся к области интеракциональной социолингвистики. Таким образом, можно сказать, что в изучении гендера имеет место не только тенденция к междисциплинарности, но и к внутри-дисциплинарной интеграции.

3.2 Социолингвистические исследования гендера

Сформировавшись как субдисциплина внутри лингвистики и социологии, социолингвистика занимается изучением языка в социальном контексте, что предполагает исследование языковой вариативности – как социальной (детерминированной возрастом, статусом, образованием, гендером и другими характеристиками коммуникантов), так и стилистической (связанной со спецификой ситуации общения). Одним из важных факторов развития данного направления было стремление приблизить лингвистическую науку к реальной жизни, сделав предметом изучения речь низших слоев общества и социальных меньшинств, которая, как правило, стигматизировалась.

Методология социолингвистических исследований (особенно на начальной стадии) предполагала количественный учет определенных языковых параметров, отобранных из аудиозаписей разговорной речи, и соотнесение их с социальными характеристиками говорящего и/или ситуации. Примерно с конца 1970х гг., кроме изучения речевых практик, все больше внимания уделяется отношениям между языком и идеологией (языком и властью), лингвистическим аспектам социальной психологии и т.п. Можно сказать, что системное изучение полового диморфизма в языке началось именно в социолингвистике.

Спектр социолингвистических исследований гендера весьма широк. Необходимость обращения к ранним социолингвистическим трудам, несмотря на то, что многие высказываемые в них идеи «морально устарели», связана с тем, что более глубокое понимание современного

состояния научного направления определяется возможностью взглянуть на некоторые из поставленных им задач в историческом контексте. Если не знать, как и откуда появились определенная проблематика и подходы, невозможно удовлетворительно оценить доказательность и актуальность новых подходов к исследованию взаимодействия языка и гендера.

Ранние исследования полового диморфизма в социолингвистике и интерпретация полученных данных

Первые данные о различиях мужской и женской речи были получены в работах У. Лабова и П. Траджила и касались главным образом использования стандартных и просторечных фонетических форм в речи мужчин и женщин.

У. Лабов анализировал социальные диалекты жителей Нью-Йорка (записи устных интервью) и динамику языковой вариативности в зависимости от социального статуса говорящего и степени формальности ситуации. Он, в частности, установил, что женщины в каждом из выделенных социальных классов употребляют меньше нестандартных (стигматизированных) фонологических вариантов, чем мужчины, и связал нестандартную речь с проявлением маскулинности, хотя, по его же собственным данным, снижение степени формальности общения приводит к тому, что и мужчины, и женщины употребляют больше просторечных форм [Labov 1971; 1998].

П. Траджил, рассматривавший проблемы пола, скрытого престижа и языковую вариативность в речи представителей различных социальных и возрастных групп г. Нориджа (Великобритания), пришел к выводу, что женщины чаще, чем мужчины прибегают к «престижным» стандартным формам произношения, поскольку подчиненное социальное положение побуждает их сигнализировать свой статус лингвистически. Мужчины же, по его мнению, видят в субстандартной речи признак мужественности и групповой солидарности. В самооценке правильности собственной речи женщины оценивали ее выше, а мужчины ниже, чем это было на самом деле [Trudgill 1972].

Интерпретация полученных данных в этот период во многом строилась на гендерных стереотипах. Указывалось, например, что, поскольку женщины лишены возможности самореализации и самоутверждения в профессиональной сфере (либо потому что не имеют

работы, либо потому, что считают главным для себя семью), они уделяют повышенное внимание другим символам, в частности, внешности и речи. Кроме того, поскольку женщины играют главную роль в воспитании детей, они стремятся дать им пример «правильной речи». Как отмечает Д. Камерон, такая аргументация подменяет категорию женщины категориями жены, домохозяйки и матери, и вряд ли может считаться убедительной. Более правильная речь, как справедливо указывает Камерон, может быть, помимо прочего, связана с уровнем образования (по данным социологов, в рабочих семьях уровень образования у женщин нередко выше, чем у мужчин), характером деятельности (физический труд у мужчин и работа в офисе/магазине/школе у женщин) и т.д. [Cameron 1995: 63 – 70].

Как показали более поздние исследования, стандартизация речи и устойчивость просторечия могут определяться не собственно полом говорящего, а ситуацией на рынке труда или силой внутригрупповых социальных связей. Интересна в этой связи работа Патриции Николс, исследовавшей языковую ситуацию на острове у побережья Южной Каролины, черное население которого говорит на языке гулла (креолизированный вариант африкано-английского пиджина, сохранившийся со времен плантаторов). Николс зафиксировала в некоторых частях острова тенденцию к распространению стандартного американского. Движущей силой этой тенденции были молодые женщины, однако отнюдь не из стремления тем самым сигнализировать свой статус (как предполагалось исследователями ранее). Просто все больше молодых островитян искали работу вне острова, не желая заниматься земледелием, как их родители. На побережье начала развиваться туристическая индустрия, что создавало возможности для трудоустройства. Эти возможности, однако, были неодинаковы для мужчин и женщин: мужчины в основном получали работу на стройках, а женщины – в сфере услуг, где требовалось знание стандартного американского (и где они имели больше возможностей слышать его и говорить на нем). Поэтому семьи островитян поощряли изучение языка девочками: мужчина мог прокормиться и без образования, а женщина нет. При этом, как установила Николс, пожилые островитянки говорили почти исключительно на гулла, возможно, потому, что, в отличие от мужчин, практически не покидали остров, чтобы продавать свои (сельхоз)продукты [Nichols 1983].

Николс одной из первых обратила внимание на неоднородность категории «женщина», подчеркнув: «Они (женщины. – Е.Г.) делают выбор в контекстах конкретных социальных ситуаций, а не в результате общей реакции на одинаковое для всех “положение женщины”» [Nichols 1983:54].

Исследования показывают, что тезис о большей стандартизации (правильности) женской речи отнюдь не универсален. По данным Бет Томас, в небольшой сельской общине Уэльса Понтрид-и-фен носителями нестандартного (просторечного) произношения являлись пожилые женщины, чья жизнь замкнута домом, общением с ближайшими соседями и активным участием в жизни церковной общины (двух неангликанских церквей на окраине деревни) [Thomas 1989].

Лесли и Джеймс Милрой, исследуя языковую ситуацию в трех рабочих общинах Белфаста, пришли к выводу, что тенденция к сохранению просторечного произношения может быть связана с силой/прочностью внутрigrупповых социальных связей (теория социальных сетей). Хотя в целом результаты Милрой не противоречили результатам Лабова и Траджила (мужчины обнаружили тенденцию к менее, а женщины к более стандартной речи), в одном из регионов, где был высок уровень безработицы среди мужчин (вследствие чего они искали работу вне местной общины), а женские социальные связи оказались гораздо более сильными (поскольку женщины работали вместе и проводили много времени вне дома), именно женщины демонстрировали приверженность нестандартным (просторечным) фонетическим вариантам [Milroy 1978].

Эти и другие исследования показывают, что апелляция к только социальной гендерной роли не в состоянии объяснить, почему в сходных ситуациях мужчины (женщины) ведут себя по-разному. Гораздо более перспективно для установления причин языковой вариативности изучать конкретные речевые практики, которые создают гендерные роли, а не замыкаться на самих ролях. Например, Дж. Чешир, анализируя речь школьников на уроках чтения, обнаружила, в частности, что использование нестандартных форм многими мальчиками связано с их отношением к учителю. Если отношения с учителем складывались хорошо, они при чтении использовали меньше просторечных форм (адаптировали свою речь к школьным стандартам). В случае плохих отношений количество нестандартных форм увеличивалось. Таким

образом, вопреки модели У. Лабова, согласно которой переход к более формальной обстановке порождает более правильную речь, многие подростки, демонстрируя неприятие школы и школьных правил, больше использовали нестандартный язык на уроках (т.е. в формальной обстановке), чем на игровой площадке [Cheshire 1978].

Исследования «женского языка»

Бурное развитие гендерной лингвистики в 1970 – 80-х гг. на Западе связано с изучением так называемого «женского языка». Толчком к интенсивным социолингвистическим исследованиям в этом направлении стала работа Робин Лакофф, которая показала, как речь женщин отражает и (вос)производит их подчиненное положение в обществе [Lakoff 1975]. Используя в качестве основных методов наблюдение и лингвистическую интуицию, Лакофф выделила несколько отличительных признаков женского языка, в том числе:

- специализированный словарь, связанный с женскими сферами деятельности и интересов;
- более точные, детализированные цветообозначения – *tauve, lavender/ розовато-лиловый, лавандовый, аквамариновый* и т.п.;
- аффективные прилагательные, используемые для выражения эмоционального отношения, а не денотативной информации (*adorable, divine, lovely/ милый, божественный, очаровательный*), и слова-интенсификаторы (*Fread is so sick/ Фред так болен* и т.п.);
- разделительные вопросы, которые, по мысли Лакофф, имплицитно выражают неуверенность женщины при выражении собственного мнения – *don't you? isn't it? / не правда ли? не так ли? да? ведь так?*;
- слова и фразы диффузной семантики, смягчающие категоричность утверждения (*hedges*) – *kind of, sort of, you know, well/ знаешь, ну как бы, что-то вроде, типа, как будто* и т.п.;
- супервежливость и склонность к эвфемизации;
- гиперкорректность и т. д.

Впоследствии каждый из этих аспектов стал предметом эмпирического анализа в многочисленных социолингвистических исследованиях; некоторые из них подтверждали, а некоторые опровергали выводы Лакофф. Например, в экспериментальных записях бесед супругов [Fishman 1978], на семинарских занятиях в студенческих группах [McMilan 1977], в

беседах пожилых людей [Hartman 1976] разделительные вопросы чаще использовали женщины; а в дискуссиях на академической конференции [Dubois, Crouch, 1975], в неформальных беседах студентов [Lapadat, Seesahai 1977] и профессиональных разговорах на рабочем месте [Johnson 1980] – мужчины [см. так же Crawford 1995].

Главным результатом экспериментальных «проверок» гипотезы Лакофф стало осознание полифункциональности большей части выделенных ею параметров. Социолингвист из Новой Зеландии Дж. Холмс, например, установила, что диффузный вводный элемент *you know* (= *знаешь, представляешь*) может выражать как неуверенность, так и уверенность (эти варианты отличаются, в частности, интонационным оформлением) [Holmes 1987: 64]. А проведенный ею анализ разделительных вопросов показал, что они могут иметь референциальное (*referential*) и аффективное (*affective*) значения. Первые характеризуются подъемом интонации и выражают неуверенность по поводу содержательной стороны высказывания; такой вопрос уместно задать, когда говорящий нуждается в подтверждении правильности своего высказывания. Аффективные разделительные вопросы характеризуются подъемом интонации и бывают двух типов: (1) фасилитативные (*facilitative*) сигнализируют солидарность/близость и используются, чтобы вовлечь собеседника в разговор; (2) смягчающие (*softening*) сглаживают обидное замечание или категоричность высказывания. В экспериментах Холмс женщины чаще, чем мужчины, использовали фасилитативные вопросы (59% против 10% у мужчин), тогда как мужчины – вопросы с референциальным значением (61% против 35% у женщин).

Американские социолингвисты О'Барр и Аткинс выразили сомнение в правомерности отнесения выделенных Лакофф языковых особенностей (формулы вежливости/извинения, обезличенные структуры, вербальные знаки неуверенности/смягчения категоричности и т.д.) к «женскому языку». Проанализировав 150 часов аудиозаписей речи свидетелей в суде, они пришли к выводу, что аналогичное речевое поведение могут демонстрировать как женщины, так и мужчины. При этом у женщин с высоким уровнем образования, социальным статусом и/или опытом выступлений в суде «индекс черт женского языка» был значительно ниже, чем у мужчин. Сопоставив все показатели, О'Барр и Аткинс заключили, что набор черт, приписываемых Р. Лакофф женскому языку, на самом деле

характеризуют слабый, безвластный язык (*powerless language*): лица с низким социальным статусом, не имеющие опыта дачи свидетельских показаний в суде, прибегали к нему независимо от пола [O’Barr, Atkins 1980]

Изучение женской речи в последующие годы было продолжено в несколько ином направлении – как анализ общения в женских группах [Aries, Johnson 1983; Coates, Cameron 1989]. Ранее в социолингвистике практически не проводилось исследований, где в роли респондентов выступали бы только женщины.

Анализ гендерного доминирования в коммуникации

Одним из важных направлений в лингвистических гендерных исследованиях 1970 – 80-х гг. было изучение асимметричных моделей прерывания и контроля над темой разговора. Д. Зиммерман и К. Уэст изучали явления прерывания (нарушение очередности в диалоге) и наложения высказываний (опережение, в результате которого реплика вновь вступающего накладывается на окончание реплики собеседника) на материале аудиозаписей неформальных диалогов мужчин и женщин в магазинах, кафе и т.д. на территории Калифорнийского университета [Zimmerman, West 1975]. Согласно их данным, мужчины прерывали женщин чаще, чем других мужчин, а женщины практически не прерывали собеседника-мужчину; при этом в беседах представителей одного пола собеседники прерывали друг друга в примерно одинаковых пропорциях. Кроме того, мужчины меньше, чем женщины поддерживали ход беседы с помощью вербальных знаков внимания (*да ну, знаешь, неужели, что ты говоришь* и т.п.), а если и использовали их, то с большой задержкой. Результаты исследования были интерпретированы учеными с феминистских позиций – как проявление гендерного доминирования в коммуникации. В последующих работах было установлено, что асимметрии прерывания может определять не только гендер, но информированность коммуникантов [Leet-Pellegreni 1980], а также их статус [Eakis, Eakis 1976]. Хотя в некоторых ситуациях даже более высокий статус не защищал женщин: например, мужчины-пациенты чаще прерывали женщин-врачей, чем наоборот [West 1984].

Вопрос о гендерном доминировании в коммуникации получил дальнейшее развитие в работах П. Фишман [Fishman 1998] и В.

ДеФрансиско [1991] в аспекте «коммуникативного разделения труда» и молчании как способе контроля над темой разговора. На основе анализа многочасовых записей бесед трех супружеских пар в домашней обстановке, Фишман пришла к выводу, что женщины неизменно поддерживали беседу с мужьями с помощью вербальных знаков выражения заинтересованности и поддержки. Мужчины же часто замолкали, что женщины воспринимали как незаинтересованность и меняли тему разговора. Анализ Фишман включал такие параметры как распределение вопросов, минимальные реплики-реакции, знаки привлечения/поддержания внимания, а также инициация и поддержание темы разговора. Исследование В. ДеФрансиско, проведенное на более обширном эмпирическом материале, подтвердило вывод Фишман о том, что жены чаще используют словесные знаки привлечения внимания и выражения заинтересованности; мужья же не выражают такой «поддержки» в общении, что обычно воспринимается женщинами как отсутствие интереса к теме разговора.

Следует отметить, что в большинстве ранних работ интерпретация эмпирических данных была весьма прямолинейной и упрощенной. Как показали более поздние исследования общения в женских (однополовых) группах, не каждое прерывание собеседника есть попытка или факт доминирования [Coates 1988]. Напротив, в некоторых ситуациях наложение высказываний может являться проявлением солидарности и заинтересованности [Tannen 1984]. Иначе говоря, одни и те же речевые стратегии и модели в различных ситуациях могут использоваться с разными целями, т.е. восприниматься («работать») по-разному для женщин и мужчин.

Исследования вербального поведения мужчин и женщин: гендер и вежливость

Заметное место в социолингвистических исследованиях гендера занимают работы, анализирующие вежливость в вербальном поведении мужчин и женщин. Тезис о том, что женщины более вежливы, восходит, с одной стороны, к исследованиям У. Лабова и П. Траджила, подчеркивавших тенденцию к использованию женщинами более престижных стандартных форм (их речь более формальна, а речь мужчин более фамильярна), а с другой стороны, – к работе Р. Лакофф, где вежливость женской речи

связывается с их подчиненным положением в обществе, чувством неуверенности и, как следствие, обилием смягчающих форм.

В теории коммуникации и прагматике вежливость определяется как внимание к нуждам лица собеседника (*face wants*) [Brown, Levinson 1987]. Стратегии позитивной вежливости направлены на удовлетворение нужд позитивного лица (потребности в одобрении, положительной оценке) и включают выражение симпатии, заинтересованности, солидарности, согласия, подтверждение общности целей и т.п. Стратегии негативной вежливости направлены на удовлетворение потребностей негативного лица (желания, чтобы ничто не ограничивало свободу действий, не налагало нежелательных обязательств, не доставляло неудобств) и представляют собой заверения в том, что говорящий признает и считается с негативным лицом адресата. Потенциальная угроза лицу сглаживается различного рода извинениями, смягчающими формулами, вопросами вместо утверждений и т.п.

Гендерные аспекты выражения вежливости рассматривались в серии статей Пенелопы Браун (1976; 1979; 1980; 1993). Она, в частности, анализировала использование частиц, усиливающих или ослабляющих/смягчающих перформативность высказывания, в речевом общении индейцев майя в Мексике [Brown 1980]. По Браун, усиливающие частицы могут рассматриваться как проявление стратегий позитивной вежливости (акцентуация одобрения, симпатии, солидарности и т.п.), а ослабляющие – как сигналы негативной вежливости (смягчение вмешательства или иных речевых актов, которые могут представлять угрозу для лица адресата). Выводы Браун включают, в частности, констатацию того, что (а) женщины намного чаще прибегали как к позитивной, так и к негативной вежливости, тогда как мужчины говорили суше, ограничиваясь констатацией фактов; (б) женщины использовали характерные только для них стратегии позитивной и негативной вежливости, маркирующие «женский стиль» общения. С другой стороны, использование языковых форм/моделей характерных для мужчин (в ритуальных молитвах, шутках/остротах сексуального характера), определяет типичные черты «мужского стиля».

Мысль о том, что женщины более внимательны к нуждам лица собеседника, высказывали также Шэри Кендал и Дебора Таннен в ходе анализа гендерных аспектов общения на рабочем месте. По их

наблюдениям, женщины, занимающие руководящие посты, склонны отдавать приказы/распоряжения, избегая угрозы для лица подчиненных, в то время как у мужчин-руководителей такой тенденции не наблюдается. Соответственно был сделан вывод, что женщины используют власть, чтобы «спасти лицо» собеседника, и приглушают авторитарность, чтобы не показаться высокомерной (*bossy*) и т.п. [Kendal, Tannen 1997].

Маргарет Дучар, используя понятия «лица», предложила свое объяснение тезиса о большей правильности женской речи. По ее мнению, поскольку женщины обладают в обществе меньшей властью, использование более престижных стандартных форм – это стратегия, направленная на то, чтобы защитить свое лицо без угрозы для лица собеседника, обладающего относительно большей властью [Deuchar 1989].

Дж. Холмс, исследуя речевое поведение мужчин и женщин в контексте академической дискуссии, также указывает, что женщины в большей мере учитывают потребности лица мужчин (партнеров по коммуникации), чем наоборот, и заключает, что игнорирование потребностей лица другого коммуниканта является «маркером маскулинности» [Holmes 1995]. Холмс фактически приходит к выводу о том, что у мужчин и женщин разные цели и нормы общения: мужчины, по ее мнению, более ориентированы на референциальную функцию языка (передача информации, фактов, содержания), а женщины – на аффективную, межличностную функцию (передача чувств, отражение социальных отношений) [С. 3]. Как следствие, у мужчин и женщин могут быть разные модели вежливости. Например, по наблюдениям Холмс, для женщин комплимент (стратегия позитивной вежливости), как правило, является сигналом солидарности, тогда как мужчины интерпретируют их как выражение покровительства (т.е. речевые акты, несущие угрозу для лица) либо как выражение объективной оценки [С. 43].

Анализ речевых примеров обмена комплиментами, собранных Холмс в Новой Зеландии, выявил количественные асимметрии в стратегиях комплиментарности: в 51% случаев комплименты делали женщины женщинам и лишь в 9% – мужчины мужчинам (23,1 % мужчины женщинам и 16,5% женщины мужчинам). Комплименты женщинам чаще всего касались внешности, а комплименты мужчинам – собственности и поступков. При этом, по наблюдениям Холмс, комплименты чаще делали друг другу лица с равным статусом. При

иерархических статусных отношениях комплименты весьма редки и, как правило, инициируются лицами с более высоким статусом. Результаты исследования Холмс показали, что и мужчины, и женщины чаще принимали комплименты (словами «да», «спасибо», «я тоже так думаю») [Holmes 1989].

М. Талбот отмечает, что общая тенденция принимать комплименты, отмеченная Холмс, не совпадает с данными, полученными на малазийском материале, где комплименты чаще отвергаются, чем принимаются [Талбот 1996: 96]. Это связано с характерными для данного общества культурными нормами, которые требуют (особенно от женщин) скромности и не допускают самовосхваления. Таким образом, сценарии комплиментарности и гендерные стратегии вежливости имеют этнокультурную специфику [Ёсиказу 2003].

Мужской и женский коммуникативные стили и проблема взаимного непонимания

Важным этапом в социалингвистическом изучении гендера стали работы, в которых общение между мужчинами и женщинами трактуется с точки зрения теории двух культур. Данный подход впервые сформулировали американские социалингвисты Дэниел Молц и Рут Боркер, анализируя причины взаимного непонимания между мужчинами и женщинами в коммуникации [Maltz, Borcker 1982]. Концепция Молца и Боркер восходит к двум теоретическим источникам: исследованиям Дж. Гамперца по межкультурной коммуникации [Gumperz 1978; 1982] и анализу общения в детских группах Марджори Харнес Гудвин [Goodwin 1980; 1982].

Дж. Гамперц, исследуя речевые практики интервьюирования представителей этнических меньшинств (иммигрантов) британскими чиновниками службы занятости, выдвинул тезис о том, что люди, живущие или действующие в определенной социальной среде, вырабатывают свойственный только им групповой стиль общения, поэтому коммуниканты из социально удаленных групп могут испытывать трудности и непонимание в общении. Даже такие минимальные стилистические вариации, как повышение тона голоса, пауза в вопросе и т.д., определяют, будет ли говорящий воспринят как человек вежливый или грубый, настроенный враждебно или наоборот. Эксперименты

Гамперца и его группы подтвердили, что несоответствие ожиданий коммуникантов приводит к проблемам в общении (например, интонационные модели, используемые индийскими иммигрантами, воспринимались британскими чиновниками как грубые и неуважительные). При этом подчеркивалось, что проблемы межэтнической коммуникации не есть следствие недобросовестности или дурных намерений коммуникантов; взаимное непонимание может возникнуть, даже когда намерения у собеседников самые добрые и они стараются понять друг друга.

По данным Марджори Харнес Гудвин, изучавшей игровое общение чернокожих детей в Филадельфии, девочки в дружеских беседах избегали использовать прямые директивы, выражая побуждение косвенно («а давайте...», «мы могли бы...» и т.д.). У мальчиков в игре пожелания, как правило, принимали форму команд. В их компаниях сразу разворачивалась борьба за лидерство и языковые стратегии играли в этом определяющую роль («давай скорее эту штуку...», «эй ты, заткнись»). В компании девочек подобное поведение вызывало осуждение. Они чаще играли парами или в небольших группах без иерархии.

Опираясь на эти и аналогичные данные, Д. Молц и Р. Боркер пришли к заключению, что в процессе взросления представители разного пола, усваивая цели и смысл общения в различных социальных контекстах, учатся по-разному использовать язык. Девочки привыкают с помощью слов создавать и поддерживать отношения близости и равенства, критиковать других в приемлемой (непрямой) форме, тонко и чутко интерпретировать речь партнеров по коммуникации. Мальчики учатся утверждать позиции превосходства, привлекать и удерживать внимание аудитории, быть напористым (защищать свои права), когда говорит другой. Иначе говоря, по мнению Молц и Брокер, гендерная сегрегация в детстве приводит к выработке у мужчин и женщин разных моделей общения, потенциально чреватых взаимным непониманием, поскольку каждый из коммуникантов исходит из своих ожиданий [Maltz, Borker 1982]

Эти идеи спустя несколько лет были развиты в работах Деборы Таннен [Tannen 1990], где различия между коммуникативными стилями мужчин и женщин представлены в терминах бинарных оппозиций (в левой

колонке – признаки женского, в правой – мужского коммуникативного стиля):

<i>Problem sharing</i> (делиться проблемой)	<i>Problem solving</i> (решать проблему)
<i>Rapport</i> (выстраивание отношений)	<i>Report</i> (информирование)
<i>Listening</i> (слушать)	<i>Lecturing</i> (вещать)
<i>Private</i> (личное)	<i>Public</i> (публичное)
<i>Connection</i> (связь)	<i>Status</i> (статус)
<i>Supportive</i> (поддерживающий)	<i>Oppositional</i> (оппозиционный)
<i>Intimacy</i> (близость)	<i>Independence</i> (независимость)

Женщины в общении, по мнению Таннен, делятся своими проблемами, не стесняются обращаться за помощью (информацией), ценят сочувствие, помощь и поддержку. Мужчины предпочитают решать проблемы, а не говорить о них, не любят просить об информации (помощи), комфортнее чувствуют себя в роли эксперта/лектора/учителя, нежели ученика и слушателя (как женщины). Женщины больше говорят в неформальной обстановке, мужчины – на публике и т.д.

Для большинства женщин, по мнению Таннен, общение – это средство установления дружеских отношений, общих интересов, выражение солидарности. Их коммуникативное взаимодействие не иерархично. Для большинства мужчин общение – это конкуренция, арена создания и поддержания иерархии (статуса) путем демонстрации своей информированности, уверенности, силы и т.д. С этих позиций ею интерпретируется множество ситуаций, где проблемы в общении между мужчинами и женщинами связаны не с доминированием одного пола над другим, а с разным пониманием ситуации, разными ожиданиями и стилями общения.

Концепция Д. Таннен в целом созвучна позиции Дж. Холмс, обобщившей различия между мужской и женской речью следующим образом [Holmes 1993]:

- у мужчин и женщин формируются разные модели употребления языка;
- женщины уделяют аффективным (межличностным) функциям общения больше внимания, чем мужчины;
- женщины чаще, чем мужчины, используют лингвистические формы, подчеркивающие солидарность;

- женщины строят общение так, чтобы поддерживать и укреплять отношения солидарности; мужчины в общении (особенно в официальных контекстах) стремятся поддерживать и укреплять власть и статус;
- в одинаковой социальной ситуации женщины используют больше стандартных форм, чем мужчины из той же социальной группы.

По мнению Холмс, после проверки на материале различных языков и культур, данные признаки могли бы претендовать на статус социолингвистических универсалий. Однако дальнейшее развитие гендерной лингвистики характеризовалось отказом от универсализации в пользу изучения особенностей речевого поведения в конкретных коммуникативных контекстах.

Вопросы и задания:

1. Как трактовалось взаимодействие языка и гендера в трудах лингвистов и антропологов первой половины XXв.?
2. В чем суть гипотезы лингвистической относительности? Кем и когда была сформулирована эта гипотеза?
3. Какова роль гипотезы лингвистической относительности в гендерных исследованиях? В чем заключается феминистское развитие идей Сепира и Уорфа?
4. Расскажите о концепции деривационного мышления М. Дж Хардман.
5. Согласны ли вы с тезисом о неодинаковой степени андроцентричности различных языков и культур? Приведите примеры.
6. Какие признаки «женского языка» выделены в работе Робин Лакофф «Язык и место женщины»? Расскажите о результатах экспериментальной проверки гипотезы Лакофф.
7. Приведите примеры исследований, подтверждающих и опровергающих тезис о гендерном доминировании в коммуникации.
8. В работах каких исследователей анализируется этнокультурная специфика гендера?
9. Назовите основные признаки мужского и женского коммуникативных стилей, выделенные Д. Таннен и Дж. Холмс.
10. Правомерно ли считать эти признаки социолингвистическими универсалиями? Поясните свою точку зрения.

Критический анализ ранних гендерных исследований и обоснование современного подхода

Критическое осмысление «ранних» гендерных исследований необходимо для обоснования современного подхода, базирующегося на принципе дискурсивного «построения» социального мира. Анализ методологии данных исследований позволил выявить идеологическую ангажированность в интерпретации результатов лингвистических исследований языка и гендера и методологические заблуждения, ведущие к сомнительным выводам (созданию научных стереотипов о гендере).

Обоснование принципов современного подхода опирается на понятия языкового конструирования и практики. Анализ теоретических и методологических основ современных исследований языка и гендера связан с вопросом о статусе гендерно специфичных языковых форм, которые трактуются либо как часть социальной (гендерной) роли, либо как символический ресурс конструирования гендерной идентичности.

4.1. Интерпретация результатов

гендерных исследований: дефицитность, доминирование, различие

В исследованиях языка и гендера 1970 – 1980х гг. различие между мужским и женским речевым поведением считалось аксиомой и служило отправным пунктом для лингвистического анализа. Интерпретация результатов происходила в рамках нескольких идеологических парадигм: дефицитности (deficit), доминирования (dominance) и различия (difference).

Парадигма дефицитности акцентирует ущербность женщин в языке: мужской язык воспринимается как норма, а женский – как отклонение от нормы. Такой подход характерен для начального этапа гендерных исследований и представлен в работах О. Есперсена и Ф. Маутнера, а также в некоторой степени в книге Р. Лакофф «Язык и место женщины», где «женские» формы противопоставляются «нейтральным» (употребляемым мужчинами), то есть имплицитно нормативность мужского и ущербность женского языка.

По мнению Р. Лакофф, особенности женской речи, делают ее «слабой», «неуверенной» и «безвластной», что в целом отражает подчиненное положение женщины в обществе. Причину, по которой

современные женщины продолжают прибегать к такому стилю речи, Лакофф видит в том, как воспитываются девочки в семье и обществе, какие требования к ним предъявляются, что поощряется и что осуждается в их поведении. Таким образом, в ее концепции содержатся предпосылки как парадигмы доминирования, так и различия.

В *парадигме доминирования* языковые формы и модели интерпретируются как проявления патриархатного социального порядка, а гендерные асимметрии в коммуникации – как реализация привилегированного положения мужчин: например, прерывание в диалоге считается проявлением власти и контроля.

Парадигму доминирования представляют упомянутые выше работы Ч. Крамери, Д. Спендер, П. Фишман, В. ДеФрансиско и др. Для них характерна не только экспликация форм гендерного неравенства в общении, но и тенденция к реверсивной гендерной асимметрии, когда женскому коммуникативному стилю приписывается бóльшая социальная ценность, чем мужскому. Например, утверждается, что женщины нацелены на сотрудничество и взаимопонимание, умеют лучше слушать, внимательнее в проблемам собеседника и в целом их речевое поведение более «гуманное», что способствует успешности общения и т.п.

Наиболее ярким представителем третьей парадигмы – *парадигмы различия* – является Д. Таннен и другие исследователи, которые рассматривают коммуникацию между мужчинами и женщинами с позиции двух культур («разных, но равных») [Tannen 1990; Maltz and Borker 1982; Holmes 1993, Boxer 1993 и др.]. Этот подход нашел немало сторонников в социалингвистике благодаря подходу Д. Таннен, которая последовательно стоит на нейтральной позиции, воздерживаясь от каких-либо оценок мужского и женского коммуникативных стилей, что более соответствует принципам социалингвистической науки.

Можно сказать, что исторически парадигмы доминирования и различия представляют собой разные моменты развития феминизма: первая отражает феминистский протест против различных форм подавления женщин; вторая – момент «торжества феминизма, восстановления и переоценки женской культурной традиции» [Cameron 1996: 41]. Расхождения между парадигмами доминирования и различия не непреодолимы: иногда оба подхода используются, дополняя друг друга [Johnstone, Ferrara, Bean 1992]. Более того, на сегодняшний день

утверждения о доминировании и различиях более не рассматриваются как взаимоисключающие [Барон 2005].

Недостатки парадигмы доминирования. Главной проблемой парадигмы доминирования является своего рода панконтекстуальность. Трактовка мужского доминирования как повсеместного и монолитного, легко опровергается, например, в ситуациях семейного общения, концептуализированных в идиоматических выражениях типа «жена пилит», «жена заела», «быть под каблуком у жены».

Монолитное понимание мужского доминирования малоэффективно для объяснения современных практик исключения женщин из некоторых сфер публичной коммуникации. К примеру, маргинальность женщин в Интернет-общении или их немногочисленность в точных науках не может быть объяснена мужским подавлением. Анализируя факторы, препятствующие активному вовлечению женской аудитории в виртуальный дискурс, М. Талбот указывает, в частности, что компьютерная культура и техническая сфера в целом воспринимаются как мужские по историко-культурным и психологическим причинам [Талбот 1996:141].

Еще более уязвим с методологической точки зрения так называемый интенционализм – установка, что подавление женщин мужчинами носит намеренный характер [Kotthoff 1996; Кирилина 2002: 51]. Вопросы гендерного доминирования в коммуникации требуют более дифференцированного подхода и четко поставленных вопросов: Что происходит на работе и в семье? Как изменяются модели доминирования в различных культурах или социальных контекстах одной культуры? В каких институтах, ситуациях и т.д. имеет место доминирование, и как институты, ситуации и контексты способствуют этому?

Кроме того, в парадигме доминирования не учитывается тот факт, что сами женщины нередко создают и воспроизводят патриархатные структуры и ценности, о чем свидетельствует, например, анализируемая ниже статья Э. Охс и Д. Тейлор «Папа лучше знает» [Ochs, Taylor 1995], а также кросс-культурное исследование причин и мотивов сохранения/смены женщинами фамилии в браке [Gritsenko, Voher 2005].

Недостатки парадигмы различия. Исследованиям, выполненным в рамках парадигмы различия, в той или иной мере свойственно «не замечать» вопросов власти в гендерной коммуникации. Основная

проблема концепции «двух культур» заключается в игнорировании социальных причин и следствий выявляемых различий. Анализируемые ситуации, представлены как ситуации межличностного общения между равными партнерами в отрыве социальных конвенций и властных асимметрий, структурирующих эти отношения. Представители данного подхода, отказываясь от интерпретации общения мужчин и женщин с позиций доминирования, ограничивают понимание доминирования исключительно намерениями самого индивида, без учета социальной структуры, которая может побуждать мужчин (женщин) говорить и действовать определенным образом, независимо от их интенций. На эту возможность указывает, в частности, Аки Учида [Uchida 1998].

О том, что только намерений недостаточно для объяснения гендерно обусловленных моделей поведения, свидетельствуют исследования психологов по имплицитной гендерной стереотипизации. Способность сознательно отмежеваться от взглядов, считающихся несправедливыми, создает впечатление, что соответствующие стереотипы не играют роли в формировании личных предпочтений, что не всегда так. Эксперименты Б. Носека, М. Банажи и А. Гринвальда, показали что более сильный имплицитный стереотип $math = man$ («математика = мужчина») соответствует более выраженному негативному имплицитному и эксплицитному отношению к математике у женщин и более позитивному – у мужчин. Хотя большинство участников эксперимента эксплицитно декларировали неприятие соответствующего стереотипа, ассоциирование себя с женщиной, а математики с мужчиной затрудняло для женщин (даже тех, кто выбрал данный предмет в качестве основной специальности) ассоциировать математику с собой. Результаты подобных экспериментов свидетельствуют о наличии ограничений, накладываемых на личные предпочтения принадлежностью к социальной группе и групповой идентичностью [Nosek, Banaji, Greenwald 2002].

Кроме того, теория «двух культур» не учитывает, что постулируемое равенство мужского и женского языков может считаться таковым лишь с позиций социолингвистического рассмотрения (ценности для науки), но не социального престижа. Не случайно, многочисленные руководства по эффективной коммуникации, появившиеся в США и других странах после выхода книги Д. Таннен «Ты меня не понимаешь: Общение между мужчинами и женщинами» [Tannen 1990], в основном адресованы

женщинам. Мужчинам не предлагалось менять свой стиль общения, задача адаптации и предотвращения «сбоев» в коммуникации возлагалась на женщин.

Между тем в неевропейских культурах мужской и женский стили речи могут существенно отличаться от европейских стереотипов. На Мадагаскаре, например, стиль женщин считается бесцеремонным, несдержанным, слишком прямым, являющимся постоянным источником конфликта, а улаживание конфликта входит в компетенцию мужчин, которых обучают уклончивому (непрямому), сдержанному, поддерживающему гармонию стилю общения [Ochs 1974]. Таким образом, мужской/женский язык оказывается по сути категорией, не заданной изначально, а имеет выраженный характер конструкта. В одном случае разговорчивость или вербальная агрессия, молчаливость или завуалированность оцениваются высоко, в другом — низко; в одном случае приписываются женщинам, в другом — мужчинам. Примечательно только, что положительная оценка стиля, его престижность всегда коррелируют с мужским полом [Барон 2005].

Общим недостатком названных парадигм является поляризация гендерных различий, которая приводит, во-первых, к исключению из поля зрения исследователей черт сходства (подобия) мужского и женского речевого поведения, детерминированных ситуацией или контекстом, и, во-вторых, способствует концептуализации гендерной идентичности как неизменной и статичной. Когда мужчин и женщин противопоставляют по принципам власти, амбиций, покорности, вежливости, сдержанности, интеллекта/способностей и т.д., роль этих атрибутов в конструировании внутригрупповых различий становится незаметной.

Представляется, что противопоставление мужчин и женщин, как различных по внутренней сути, следует рассматривать в контексте более широкой традиции, корни которой уходят в структуралистский подход к языку (концептуализацию его как сети противопоставленных форм, значимость которых определяется исключительно их внутрисистемными различиями), и связано с эссенциалистским пониманием гендера как набора качеств внутренне (по природе) присущих мужчинам и женщинам. Подобные представления в немалой степени способствовали тому, что в ходе исследований к социальным стереотипам о гендере добавлялись стереотипы научные.

4.2 Стереотипы в исследованиях языка и гендера

Некоторые стереотипы оказываются непреодолимыми для лингвистов, занимающихся выявлением гендерных различий, главным образом потому, что весьма удобны для готовых гендерных объяснений. Иногда обращение к стереотипам связано с тем, что исследователь признает их сексистскими и стремится развенчать. В результате появляются темы, к которым ученые обращаются снова и снова – часто с неубедительными, а иногда и отрицательными результатами. И даже если в самом исследовании даются весьма сдержанные выводы, комбинация всего объема посвященных этому вопросу работ, перекрестные ссылки и всеобщее убеждение, что результат должен быть положительным, создает впечатление доказанности. Таким образом, стереотипы принимаются за научные истины, становясь частью фоновых знаний о языке и гендере. Ш. Варейн назвала этот феномен «залом зеркал» [Wareign 1996].

В конце 1970х гг. Р. Маколи обнаружил этот эффект, анализируя литературу по гендерным различиям в языковых способностях [Macauley 1978]. Считается общепризнанным и научно доказанным, что девочки опережают мальчиков в языковом развитии: у них быстрее формируются и лучше развиваются речевые способности. Однако, анализируя литературу по данному вопросу, Маколи обнаружил, что результаты исследований, на которых основывается данное мнение, совсем не так убедительны. Во-первых, сами методы измерения языковых способностей во многих случаях оказались неудовлетворительными. Например, индикаторы «чаще вступает в разговор с другими детьми», «делает уместные комментарии при просмотре фильма», «обращается за помощью и оценкой к матери», «меньше экает» могут характеризовать коммуникативный стиль, но вряд ли подходят для оценки языковых способностей. Во-вторых, для убедительного вывода о превосходстве в речевом развитии необходима соответствующая статистика, чего как раз и не удалось обнаружить. В большинстве работ гендерных различий не было выявлено вообще, в некоторых фиксировалось женское, а в несколько меньшем числе работ – мужское превосходство. В ряде случаев различия оказались статистически незначимыми. Единственным убедительно обоснованным выводом было то, что у мальчиков чаще фиксируются языковые расстройства, типа заикания. Однако данное явление не отражает уровень врожденной

речевой способности. С другой стороны, Р. Маколи выявил гораздо более последовательную зависимость языкового развития от социально-экономического класса, к которому принадлежал ребенок [Macaulay 1977]. Несмотря на это, версия гендерной детерминированности речевых способностей возобладала. Вероятно потому, что исследователи и общество были убеждены в существовании гендерных различий, анализ эмпирических результатов оказался предвзятым.

Амплификация статистически незначительных результатов – не единственное методологическое заблуждение, приводящее к сомнительным выводам в изучении языка и гендера. Возьмем, например, тезис о том, что мужчины прерывают собеседника чаще, чем женщины. На основе детального обзора работ по этой теме (1965 – 1991 гг.) Дебора Джеймс и Сандра Кларк сделали вывод об отсутствии убедительных доказательств гендерных различий в частоте прерываний собеседника. По их данным, в 13 исследованиях собеседника чаще прерывали мужчины, чем женщины, в 34 экспериментах существенных расхождений выявлено не было, а в 8 случаях собеседника чаще прерывали женщины. Дифференциация данных исследований на диалоги и коллективные беседы, коммуникацию в однополых и разнополых группах позволяет выявить более тонкие нюансы, но не дает оснований для глобальных обобщений [James, Clark 1993].

Гипотеза, что мужчины прерывают чаще, получила столь широкое распространение, поскольку, как казалось, данный вывод закономерно вытекал из того, что мужчины обладают большей властью в обществе. Он также совпадал со стереотипным представлением о женщинах как миролюбивых и мягких, а о мужчинах как агрессивных и напористых.

Подобные представления не всегда вытекают из анализа языка и других аспектов социальной практики, но зачастую служат отправным пунктом для анализа и/или интерпретации. При этом гипотезы, выдвигаемые исследователями, как правило, строятся на оппозиции: является ли речь женщин более вежливой, чем речь мужчин? кто более эмоционален? и т.п. Поставленные таким образом вопросы претендуют на глобальные обобщения, поэтому различия, которые ищут и находят исследователи в конкретных контекстах, обобщаются и выносятся за пределы ситуации, в которой они были получены и из частных превращаются в глобальные. Между тем, как справедливо подчеркивают

П. Экерт и С. МакКоннел-Джине, «отрыв языка и гендера от социальных практик, создающих их конкретные формы в данном сообществе, часто затемняет, а иногда искажает то, как связаны гендер и язык и как эти связи переплетены с отношениями власти, социальным конфликтом, производством и воспроизводством социальных ценностей и т.п.» [Eckert, McConnel-Ginet 1992(a): 93].

Например, одно из ключевых положений теории «двух культур» гласит, что для мужчин характерен соревновательный (*competitive*), а для женщин – кооперативный (*cooperative*) стили общения [Таннен 1990; Edelsky, Adams 1990; Johnstone, Ferrara, Beans 1992]. Соревновательность предполагает видение мира иерархично организованным и повышенное внимание к своему статусу в этой иерархии. Однако иерархическое поведение в определенной ситуации нельзя отождествлять с иерархичностью в общем, глобальном смысле. Если в серии коммуникативных экспериментов по обсуждению заданной темы в одно- и разнополых студенческих группах женщины продемонстрировали тенденцию к сотрудничеству, а мужчины к соревновательности (одни выступали больше, другие молчали) [Aries 1976], это означает лишь, что для многих североамериканских студентов характерно создавать иерархии при кратковременном коммуникативном взаимодействии (которое было искусственно сконструировано и за которым наблюдал экспериментатор). Результат подобных экспериментов не может считаться свидетельством того, что мужчины в целом более иерархичны.

Исследования показывают, что женщинам в определенных ситуациях также присущи иерархичность и состязательность. М. Х. Гудвин, изучая игровое вербальное поведение детей, установила, что мальчики, работая над совместной задачей (изготовлением рогаток), демонстрировали иерархичное, а девочки (делая кольца из горлышек бутылок) – эгалитарное поведение [Goodwin 1980]. Однако она также отметила, что в других ситуациях мальчики подолгу играли как равные, а девочки – с помощью речевых практик «он-сказал-она-сказала» – выстраивали сложные системы исключения, предполагавшие не просто иерархию в группе, но и полное отсечение неудобных [Goodwin 1982].

Отметим, что сами понятия соревновательности, индивидуализма и сотрудничества в общении не однозначны. Например, Дж. Чешир, анализируя речевые практики пересказа на уроках чтения в однополых

группах британских школьников, пришла к заключению, что нарративы мальчиков в целом структурированы более кооперативно: они чаще запрашивали и получали ответы от других участников группы. Девочки же подолгу говорили, не прерывая друг друга, и в результате их стиль был более индивидуалистичен. Таким образом, проявления иерархичности и кооперативности ситуативно обусловлены и должны анализироваться в конкретном контексте.

При этом важно иметь в виду, что коммуникативное поведение не является исключительно следствием внутренней предрасположенности индивида, а определяется социальными конвенциями. Мужчины могут вести себя более иерархично и напористо, потому что общество поощряет подобное поведение у мужчин и осуждает у женщин [Lakoff 1975; Edelsky and Adams 1990; Romaine 1999]. Однако вопрос, *кто более иерархичен (или кооперативен)*, упрощает и искажает ситуацию. Корректнее и перспективнее с научной точки зрения вопрос, *каким образом разные индивиды создают и участвуют в социальных иерархиях, и какова роль гендера в этом процессе.*

Еще один пример касается интерпретации экспериментальных данных о том, что женщины чаще делают и получают комплименты и что комплименты, адресованные женщинам, чаще касаются внешности, а мужчинам – достижений и поступков [Holmes 1989; 1995; Двинянинова, Морозова 2002; Гришаева 2001]. Обычно они трактуются как подтверждение (а) стремления женщин к близости и созданию дружеских связей и (б) активности мужчин, совершающих действия, и пассивности женщин, являющихся объектом оценки. Эта интерпретация снова уводит нас в «зал зеркал», где воспроизводятся научные стереотипы о гендере. Между тем социальные и культурные нормы четко определяют, что, как, кому и когда можно говорить. Показательно в этой связи наблюдение В. Жельвиса, касающееся реакции респондентов на пол экспериментатора. Когда американским информантам предлагалось реагировать на двусмысленные слова, которые можно было понимать как непристойные или нейтральные, то при экспериментаторе-женщине непристойный смысл отмечался мужчинами реже, чем при экспериментаторе-мужчине [Жельвис 2001].

Мужчины могут делать комплименты женщинам по поводу внешности, поскольку уверены, что женщины больше их ценят и ждут.

Впрочем, сам вопрос «почему» побуждает к стереотипным ответам. Более перспективен с точки зрения современного подхода вопрос, *как комплименты структурируют нормативные ожидания* о важности внешности для женщин и действию/достижений для мужчин и – шире – какова роль языка, как одного из важнейших ресурсов конструирования мужественности и женственности.

Такой подход основан на постструктуралистском понимании языка как сферы культурного (вос)производства социальной идентичности и отношений. Различие между мужчинами женщинами как социальными субъектами в рамках данного подхода объясняется тем, что язык позиционирует их различным образом. С этой точки зрения, субъективность (понимание себя) есть нечто сконструированное, а не данное свыше, а идентичность индивида не статична, а постоянно создается в дискурсивных практиках по мере того, как он/она занимают определенные позиции в социальной структуре.

4.3. Принципы современного подхода к изучению языка и гендера.

Понятия конструирования и практики

Уход от глобальных обобщений и стереотипных трактовок мужского и женского языка П. Экерт и С. МакКоннел-Джине охарактеризовали тезисом «думать практически, наблюдать локально» (*thinking practically, looking locally*). В одноименной статье они аргументируют необходимость изучать «взаимодействие языка и гендера в каждодневных социальных практиках конкретных местных сообществ (*communities of practice*)» тем, что (1) гендер не всегда легко отделить от других аспектов социальной идентичности и отношений; (2) гендер не всегда имеет одинаковые значения в различных сообществах/культурах; (3) лингвистические манифестации гендера в различных сообществах могут варьировать [Eckert, McConnel-Ginet 1992(b); см. также Кирилина 1999; 2002; Томская 2001; Фатыхова 2002 и др.]. Понимая гендер как «основанный на половой принадлежности способ переживания иных социальных статусов – таких как класс, этничность, возраст, а также менее очевидных социальных качеств – амбициозность, атлетизм, музыкальность» [Eckert, McConnel-Джине 1992b: 93], они подчеркивают, что анализировать гендер в отрыве от других аспектов социальной идентичности – значит, «рисовать, закрыв

один глаз» [с. 94], с чем трудно не согласиться. Проведенное нами кросс-культурное исследование причин/мотивов, по которым женщины, выходя замуж, меняют или сохраняют фамилию, в рамках которого было проанализировано более 200 опросных листов с комментариями и проведено свыше 23 квази-этнографических интервью с респондентками из России, США, Пакистана, Аргентины, Мексики и Ганы, показало, что, выбирая имя, они всегда действовали не только как женщины, но как матери или будущие матери, послушные дочери, успешные профессионалы, представители определенных этнических групп или религиозных конфессий, а также других социальных категорий [Gritsenko, Boxer 2005].

Гендер – это часть комплексного участия индивида в жизни конкретного социума и должен изучаться в различных своих проявлениях и в неразрывной связи с другими аспектами социального опыта. Это подчеркивает и Д. Камерон, призывая исследовать язык и гендер *конкретно* (изучать конкретных мужчин и женщин в конкретных контекстах) и *комплексно* (учитывать взаимодействие гендерного параметра с другими типами идентичности и социальных отношений) [Cameron 1998].

Ключевыми понятиями в данной модели анализа являются конструирование и практика.

В основе понятия *языкового конструирования гендера* лежит идея о том, что высказывания – это не просто слова или речевые акты, а «кирпичики», из которых складываются социальные отношения, образы «себя» и «других», различные аспекты личности, воссоздаваемые и проживаемые в каждом коммуникативном взаимодействии. Данное понимание сформировалось в рамках интеракционной модели коммуникации, где языковое общение понимается как обмен социальными действиями и взаимное (вос)производство интересубъективности [Goffman 1983; Turner 1988]. Иллюстрацией интерактивного взаимодействия, конструирующего гендерные позиции и отношения, может служить эпизод «дуэли» В. Ампилова и И. Хакамады в ток-шоу «К барьеру» (НТВ, 21.10.04), в котором Ампилов, говоря, что восточный разрез глаз собеседницы ему «очень даже нравится», позиционирует Хакамаду как женщину, а себя как мужчину. Такое позиционирование санкционировано культурными конвенциями, согласно которым (1) в женщине ценится

красота, а (2) ценителем женской красоты является мужчина. Ответной шутливой репликой («А вы не заигрывайте!») Хакамада принимает и (вос)производит эти позиции. Теоретически возможный в данной ситуации иной ответ (указывающий на недопустимость/неуместность подобной реплики в политической дискуссии) был бы отказом от гендерного позиционирования и конструировал иные субъектные позиции и отношения.

Исследователи разграничивают «конструктивизм» как теоретическое основание современного интерпретативного интеракционизма, и «социальный конструкционизм» (*constructivism vs social constructionism*) на том основании, что «конструктивисты преимущественно рассматривают коммуникацию как *когнитивный* процесс познания мира, а социальные конструкционисты – как *социальный* процесс (*по*)строения мира [Макаров 2003: 65]. Иначе говоря, конструктивизм акцентирует интерпретативную деятельность человека, усваивающего принадлежащий данному социуму «универсум общих смыслов» и на «первое место выводит *восприятие, перцептивность*, а социальный конструкционизм – *действие, акциональность*» [там же].

Учитывая, что каждый индивид действует исходя из обусловленных контекстом интерпретаций, думается, что при анализе языкового конструирования гендера целесообразно не разделение, а синтез данных подходов. Оба они исходят из того, что социальная реальность и различные проекции личности, т.е. идентичность человека, не отражаются, а конструируются средствами языка, то есть стоят на анти-эссенциалистских позициях в отличие, например, от теории гендерной социализации, разработанной в рамках поло-ролевого подхода Т. Парсонса, Р. Бейлса и М. Комаровски, исходным основанием которого является имплицитное признание биологического детерминизма ролей [Parsons, Bales 1955; Komarovsky 1950].

С позиций социального конструирования, гендер – это повседневный мир взаимодействия мужского и женского, воплощенный в практиках, представлениях, предпочтениях бытования; это «системная характеристика социологического порядка», от которой невозможно избавиться/отказаться: она постоянно воспроизводится и в структурах сознания, и в структурах действия и взаимодействия. Задача исследователя – выяснить, как создается мужское и женское в этом взаимодействии,

каким образом оно поддерживается и воспроизводится в социальной практике [Здравомыслова, Темкина 2001: 150].

Под *практикой* обычно понимают ситуативные акты, получающие определенную интерпретацию на базе данного контекста. В культурологии и философии теоретические модели, релевантные для изучения языка и гендера в социальной практике, предложены П. Бурдьё, Дж. Батлер и М де Серто.

Теория Пьера Бурдьё объясняет динамику поддержания социального порядка. Бурдьё признает роль индивида в конструировании знания, но более его интересует то, как *хабитус* (*habitus*) – социальные условия и опыт индивида – ограничивают (сдерживают) его гипотетически возможные действия и поступки (Bourdieu 1977, 1991). В плане изучения языка и гендера, «хабитус» помогает представить речевое поведение индивида с учетом личных предрасположенностей и намерений, а не как деятельность, полностью детерминированную социальной структурой. Хабитус образует систему, основанную на личной истории индивида, в рамках которой его (ее) речь социально понятна, а также устанавливает связи между различными социальными параметрами (класс, этничность, род занятий, гендер). При таком взгляде на язык арены деятельности индивида могут быть различными и накладываться друг на друга, так что каждая будет оказывать влияние на то, как индивид интерпретирует языковые формы, использует их. С этой точки зрения, вариативность внутри гендерной группы (о которой шла речь выше) не только не удивительна, но и неизбежна.

Мишель де Серто [de Certeau 1984] вводит в изучение каждодневных социальных практик понятие ситуативной власти, подчеркивая тем самым агентивность индивида. Если Бурдьё больше интересует положение индивида в социальной среде, то де Серто разрабатывает идею о том, что индивиды и группы могут эксплуатировать культурные формы и репрезентации, используя их для достижения своих непосредственных конкретных целей. Он говорит о двух типах практик – стратегиях и тактиках – которые идут вразрез с общепринятым положением о том, что индивидуальное поведение определяется культурными нормами, накладываемыми на индивида социумом. Стратегии, по де Серто, ассоциируются с доминирующей элитой и поддерживаются институциональной властью. Тактики он называет «искусством слабых»,

относя к ним микроуровневые действия индивидов, не обладающих властью в данном контексте, а именно, разнообразные мелкие, гибкие, оппортунистические или конъюнктурные действия, не санкционированные конвенциями. Благодаря им индивид получает временную власть, манипулируя средствами/ресурсами различных сфер (в том числе речевой) для достижения своих целей. Де Серто возражает против недооценки рациональных и сознательных намерений говорящих и критикует социальные теории, рассматривающие тактики или индивидуальные действия как слишком разнообразные и бессистемные для теоретического изучения. Влияние концепции де Серто на исследования языка и гендера связано с переходом от интерпретации используемых индивидами/группами языковых форм в соответствии с конвенциональными (присвоенными системой) значениями к рассмотрению значений, которые дают языковым формам сами индивиды и как они их далее используют.

В философской концепции Джудит Батлер, созданной, в частности, под влиянием теории речевых актов Дж. Остина, акцентируется продуктивная природа индивидуальных речевых действий [Butler 1990]. По Батлер, гендер является перформативным образованием, продуктом перформативных действий индивидов, и вне их не имеет онтологического статуса. Другими словами, гендер есть то, что индивид делает/представляет (*performs*), а не то, что он(а) имеет.

Традиционно социолингвистика исходила из положения, что именно гендер является причиной того, что мужчины и женщины по-разному используют язык (я говорю таким образом, *потому что* я женщина/мужчина). Перформативный подход предполагает, что мужчины и женщины используют язык так, а не иначе *для того, чтобы* быть (и восприниматься) представителями определенного пола. Исследователи, придерживающиеся данного подхода, указывают, что индивиды конструируют гендер (*do gender*) по-разному в разных контекстах. При этом, по Батлер, агентивность субъекта ограничивается невозможностью создать нечто абсолютно новое, поскольку единственно возможным способом производства культурно узнаваемых значений являются цитация и повторение. Агентивность субъекта, таким образом, реализуется через возможность речевого варьирования цитат и реитераций.

Перформативность некоторые лингвисты связывают с понятием стиля, имея в виду, что гендерные речевые стили (*gendered speech styles*) не являются унифицированными, детерминистическими и однородными наборами лингвистических маркеров, а представляют собой эксплуатацию языковых ресурсов для передачи определенных установок в конкретных ситуациях [Eckert, McConnel-Джине 2003: 315 – 318]. При этом вводится понятие стилистической практики и констатируется, что «каждое действие – это, по определению, стилистическое действие, и наше непрекращающееся построение себя есть непрекращающийся стилистический поиск» [С. 308].

Положение о том, что язык и гендер прочно «встроены» в социальную практику и выводят свои значения из деятельности, в которой фигурируют, означает, что индивиды не просто делают (языковой) выбор для достижения некоторой цели, но действуют в рамках определенных ограничений (институциональных или идеологических), которые накладываются на их действия (но не детерминируют их).

С введением практики как основы взаимодействия языка и гендера изменились вопросы, которые задают себе исследователи. Вместо вопроса «как говорят мужчины и женщины?» сегодня спрашивают, какие виды языковых ресурсов они используют (или могут использовать), чтобы представить себя тем или иным типом мужчин и женщин. Вместо вопроса «как говорят о мужчинах и женщинах?», спрашивают, какие типы лингвистических практик выражают и поддерживают определенные гендерные идеологии и нормы.

Поскольку работы зарубежных лингвистов, иллюстрирующие практическое применение изложенных выше теоретических положений, практически не переведены на русский язык и малоизвестны широкой массе отечественных ученых, представляется целесообразным более подробно остановиться на некоторых из них, с тем чтобы дать общее представление о характере проблематики, методологии и широте охвата материала.

4.4. Исследования языкового конструирования гендера в различных социальных контекстах

Современные исследования исходят из признания множественности, контекстуальности, идеологичности и историчности процессов языкового

конструирования гендера и характеризуются разнообразием тем и исследовательских приемов.

4.4.1. Теоретические и методологические подходы

Анализ теоретических и методологических основ современных исследований языка и гендера позволяет условно разделить их на две группы. С одной стороны, выделяются работы, в которых анализируются отношения между гендером индивида и конкретными чертами его/ее языка. В фокусе исследовательского внимания находятся характеристики речи и письма, коррелирующие с членством в определенной гендерной группе/категории⁷. Данный подход предполагает, что большинство людей интуитивно согласны с тем, что означают гендерные категории и разделяют общее представление о гендере. Он принят в большинстве работ вариационистской парадигмы, где выбор тех или иных языковых форм, моделей, прагматических частиц, стратегий поведения и пр. соотносится с социальной ролью мужчины/ женщины [Holmes 1995; James 1996; Gordon 1994; Coates 1998; 2004; Herring 2005; Горошко 1996; Табурова 2000, Городникова 2001, Иссерс 2001, Анищенко 2003; Баженова 2003 и др.]. С когнитивной точки зрения, данные исследователи исходят из предпосылки, что «гендерная идентичность складывается как относительно стабильная *предискурсивная* (выделено мной. – Е.Г.) черта, которая свойственна всем индивидам и может быть более или менее заметной, в зависимости от релевантности в конкретном контексте» [Weatheral, Gallois 2005: 488]. В рамках данного подхода гендерно специфичное использование языка является частью социальной (гендерной) роли.

С другой стороны, выделяются исследования, базирующиеся на более строгом конструктивистском подходе. Их авторы, как правило, подвергают сомнению понятие гендера как априорной социальной категории и трактуют социальную идентичность и гендерную идентичность как социальные конструкты, а не «заранее заданные» социальные параметры классификации людей. Гендер в такой трактовке является продуктом социальной интеракции (возникает в коммуникации). В фокусе исследования находится то, как индивиды *создают* гендерную идентичность во взаимодействии с другими людьми. Иначе говоря, акцент

⁷ Речь не идет лишь о дихотомии мужчина – женщина, но обо всем многообразии потенциально возможных (вычлениаемых) социальных групп, где гендер является релевантным параметром.

ставится на динамических аспектах интеракции, где язык является важнейшим творческим ресурсом, а лингвистический выбор может подчеркивать те или иные аспекты социальной (гендерной) идентичности в конкретной ситуации – как реакция на аудиторию и/или ситуацию. Данный подход позволяет изучать вербальные стратегии не только способствующие, но и препятствующие воспроизводству гендерных стереотипов, и создает методологическую основу для изучения речевых сообществ, культур и особенностей вербального поведения, которые, не вписываются в традиционные гендерные дихотомии и бросают вызов доминирующим гендерным идеологиям [Hall 1995; Livia 2003].

Формально различия между названными методологическими принципами основаны на разном понимании отношений между гендером и языком. В рамках первого подхода язык (гендерно специфичное вербальное поведение) является частью социальной (гендерной) роли, т.е. гендерная идентичность/гендер как социальная категория предшествует ее языковому выражению. В рамках второго подхода гендер трактуется как продукт дискурса, т.е. признается, что язык не индексирует (не сигнализирует) гендерную идентичность, а создает (конструирует) ее.

Причина этих методологических расхождений, на наш взгляд, связана с различным пониманием отношений между полом и гендером. Признавая полезность разграничения данных понятий, исследователи по-разному трактуют соотношение между ними. Антрополог Николь Клод Матье, проанализировав существующие подходы, выделила три парадигмы в концептуализации данных категорий [Mathieu 1996]. Речь идет об имплицитных допущениях, которые являются основой для изучения и интерпретации данных.

В рамках первого подхода (парадигма соответствия – *homology*) гендер трактуется как социально опосредованное выражение биологического пола. Индивиды «усваивают» мужской или женский тип поведения в зависимости от того, к какой биологической категории они были отнесены по рождению. Этот подход не означает, что все аспекты поведения напрямую обусловлены биологией, но предполагает, что пол является фундаментом, на котором строится гендерная специфика поведения (например, бóльшая агрессивность мальчиков по сравнению с девочками может быть усвоена в процессе социализации, однако она

отражает биологическую предрасположенность мужчин к проявлениям агрессивности).

Во втором подходе (парадигма аналогии – *analogy*) гендер символизирует пол. Гендерная идентичность в рамках данного подхода базируется на коллективном опыте существования в качестве члена социальной группы «мужчина» или «женщина», т.е. принятии определенных гендерных ролей, чтобы соответствовать культурным ожиданиям. Эти роли и ожидания могут варьировать в различных сообществах (культурах), хотя биология мужчин и женщин сама по себе не обнаруживает таких различий. Таким образом, акцентируется символическая природа гендера и отрицается прямая и непосредственная связь между рассматриваемыми категориями, в рамках которой гендер является социальным уточнением биологических характеристик.

Третий подход (парадигма неоднородности – *heterogeneity*) предполагает, что пол и гендер – это разнородные явления. Мысль о том, что пол является в каком-то смысле основой гендера, в рамках данного подхода признается идеологической фикцией. По мнению его сторонников, неправомерно считать, что мир «естественным образом» поделен на две группы, мужчин и женщин. Это деление произведено исторически, чтобы узаконить социальную гендерную иерархию. В данной парадигме гендер конструирует пол, а не наоборот. При этом речь не идет об отрицании полового диморфизма, а лишь о том, что биологические различия приобретают значимость, когда по социальным, экономическим и политическим причинам они становятся основой для классификации людей и их включения в определенные иерархии (по аналогии с классовыми или расовыми различиями).

Очевидно, что исследователи, понимающие гендерно специфичный язык как часть социальной роли, стоят на позициях парадигмы аналогии. Сюда, помимо упомянутых выше работ, можно отнести труды Р. Лакофф, Д. Таннен и других представителей парадигм доминирования и различия в гендерной лингвистике. Значительная часть отечественных исследователей языка и гендера также исходят из того, что гендерная идентичность базируется на коллективном опыте существования в качестве члена социальной группы «мужчина» или «женщина», т.е. принятии определенных гендерных ролей, чтобы соответствовать культурным ожиданиям.

Наиболее ярким представителем парадигмы неоднородности является Дж. Батлер, стоящая на позициях социальной конструируемости полов и перформативности гендера как «повторяемой стилизации тела (*repeated stylization of the body*)» [Butler 1990: 33]. Хотя сама Батлер не рассматривала роль языка в этом процессе, ее концепция была активно востребована лингвистами, которых не удовлетворяло понимание индивида как некоего автомата, запрограммированного в процессе социализации лишь на (вос)производство гендерно уместных моделей языкового поведения. В работах этих исследователей подчеркивается, что даже традиционно понимаемые мужественность и женственность могут (и должны) иметь различные языковые манифестации [см. Kiesling 1997 и др.].

С другой стороны, критики Батлер указывают, что акцентирование активной роли субъекта гендерных перформаций приводит к недооценке влияния гендерной идеологии и отношений/институтов власти. Х. Коттхоф и Р. Водак, например, подчеркивают, что очевидное убеждение представителей современных квир-теорий, что манипулятивное использование гендерной языковой символики – это революционный акт, способный ниспровергнуть существующий гендерный порядок, является «тривиальным и тривиализующим» [Wodak 1997: 30]. Более того, трансгрессивное речевое поведение в форме копирования стереотипных языковых манифестаций мужественности и женственности трансвеститами, работниками служб сексуальных услуг по телефону и т.п. мало что меняют в гендерном социальном порядке, лишь укрепляя в сознании членов общества языковые гендерные стереотипы в их наиболее радикальной дихотомической форме.

Перформативность, по Батлер, фокусируется на индивиде (агенте гендерных перформаций), поэтому исследователи, обращающиеся к вопросам конструирования гендера и власти в лингвистической интеракции, предпочитают подход, в котором социальные идентичности и отношения подчинения рассматриваются как продукты «совместного производства». Это особенно важно, если объектом исследования является язык, т.е. вид перформаций, по определению интерсубъективных. По этой причине постмодернистская концепция Батлер оказалась менее привлекательной для ряда лингвистов, чем этнометодологическая

традиции и теория символического интеракционизма, которые также могут быть отнесены к парадигме неоднородности.

Радикальную позицию Дж. Батлер по вопросам пола (тезис о нецелесообразности деления людей на мужчин и женщин, поскольку в обществе есть индивиды, не вписывающиеся в данные категории⁸) многие исследователи считают «догматической», подчеркивая, что в обществе биологический пол продолжает оставаться мощным инструментом категоризации людей, поэтому задачей генерных исследований должна быть не критика бинарно организованных восприятий пола как ложных (нереальных), а «выявление воспроизводящих механизмов, сетей и институциональных предписаний/ограничений, которые обеспечивают устойчивость, прочность данных конструкторов, воспринимаемых как вневременные, естественные и непоколебимые» [Hirschauer 1992: 333].

Таким образом, внутри социального конструктивизма как широкого концептуального подхода к лингвистическому изучению гендера, выделяются частные исследовательские направления с собственными методами и акцентами в трактовке отношений между языком, полом и гендером.

Одним из наиболее популярных в этом ряду являются этнографические и этнолингвистические исследования, построенные на постструктуралистских принципах, в форме детального анализа конкретных коммуникативных практик и/или ситуаций. Примером служат анализируемое ниже исследование маскулинности в работах Дж. Пуджолара [Pujolar 1997; 2001] и конструирование гендерных ролей в беседах за обеденным столом в статье Э. Охс и К.Тейлор [Ochs, Taylor 1995].

Широко представлены в современной гендерной лингвистике исследования различных форм дискурса с использованием качественных методов, в том числе фреймового подхода к анализу устной и письменной коммуникации. [Tannen 1994; Coates 1996; Kendal, Tannen 1997; De Fransisco 1997; Ehrlich 2005; см. также Буренина 2003; Варданян 2003; Городникова 2003 2003 и др.] Для рассмотрения в данной главе выбраны две работы, рассматривающие с различных точек зрения дискурсивное

⁸ Ср. «... as identity is assured through the stabilizing concepts of sex, gender and sexuality, the very notion of “the person” is called into question by the cultural emergence of those “incoherent” or “discontinuous” gendered beings who appear to be persons but fail to conform to the gendered norms of cultural intelligibility by which persons are defined» [Butler 1990: 17].

конструирование гендера в печатных СМИ [Eggin, Iedema 1997; Кирилина 2001].

В рамках дискурсивного направления особое место занимает критический дискурс-анализ, цель которого – выявление связей между языком, гендером и властью. Предметом рассмотрения здесь могут быть гендерно релевантные макроуровневые дискурсивные стратегии, конкретные риторические формулы, грамматические модели, синтаксическая и семантическая организация текстов, транслирующих гендерные смыслы и т.п. Данный подход иллюстрирует работа М. Киэр, посвященная дискурсивному конструированию материнства [Kiær 1994].

Важно подчеркнуть, что многие современные исследователи языка и гендера плодотворно комбинируют различные подходы и методы для решения поставленных задач. Работа В. де Клерк, например, демонстрирует продуктивность совмещения этнографического описания с элементами вариационистской парадигмы [de Clerk 1997]. С. Кислинг, исследуя конструирование маскулинности и власть, использует этнографический подход и элементы классического конверсационного анализа [Kiesling 1997]. Работа Ш. Окамото показывает, что в рамках конструктивистского подхода есть место для количественных данных – как фона, полезного для понимания социальной значимости выбора конкретных лингвистических форм в определенных коммуникативных контекстах [Okamoto 1995].

Разумеется, названные работы не покрывают всего разнообразия современных исследований языка и гендера. Они, как и анализируемые ниже труды отечественных лингвистов, были выбраны для более подробного рассмотрения, поскольку (1) представляют наиболее распространенные и влиятельные исследовательские направления и методы; (2) убедительно подтверждают идею конструируемости гендера и эксплицируют разнообразные языковые механизмы такого конструирования; (3) отражают наиболее значимые аспекты лингвистической гендерной проблематики (гендер и идентичность, гендер и власть, гендер и статус и пр.); (4) анализируют взаимодействие языка и гендера в устных и письменных интеракциях на материале различных языков, что позволяет выявить как изоморфизм, так и специфику конструирования гендера в различных культурах и социальных контекстах. Детализация некоторых фрагментов описания представляется

оправданной и связана со стремлением продемонстрировать многообразие лингвистических средств конструирования гендера и способов его анализа.

4.4.2. Гендерный дискурс в печатных СМИ

Анализу репрезентаций гендера в средствах массовой информации всегда уделялось значительное внимание. Если на первых этапах речь шла главным образом о критике сексизма в СМИ и деконструкции андроцентричных асимметрий и стереотипов (о ком чаще пишут, чьи фото чаще публикуют, как называют/представляют мужчин и женщин), то с осознанием гендера как социального конструкта наблюдается переход от понимания средств массовой информации как отражающих то, что происходит в социуме, к признанию текста семиотическим продуктом социальных институтов с собственными приоритетами, интересами и исходными посылками, которые вместе способствуют появлению продукта, предлагающего конкретный дискурс мужественности или женственности.

В данном подразделе мы рассмотрим две работы: исследование австралийских лингвистов С. Эггинс и Р. Иедемы, где рассматриваются вопросы семиотического конструирования женственности в синхронии [Eggins, Idema 1997], и статью А.В. Кирилиной, в которой репрезентации мужественности и женственности в советском и постсоветском дискурсах анализируются в диахроническом аспекте, как изменчивые параметры переменной интенсивности, поддающиеся социальному манипулированию и регулированию [Кирилина 2000(а)].

Конструирование женственности в конкурирующих женских журналах

В статье С. Эггинс и Р. Иедемы с использованием приемов социально-семиотического анализа исследуются различия между двумя австралийскими женскими журналами: «Новая женщина» (далее – NW) и «ОНА» (далее – SHE). Методологически исследование строится на социально семиотической теории М.А.К. Халлидея [Halliday 1978], согласно которой семиозис (процесс создания значений) не просто конструирует предметно-изобразительную реальность (содержательная функция языка или функция представления идей - *ideational function*), но и определяет социальные отношения (межличностная функция –

interpersonal function). При этом посредством текстуальной функции (*textual function*) оба типа значений складываются в единый, логически связный и потому «узнаваемый» текст. Эти три метафункции, по Халлидею, внутренне присущи языку и связаны с социальным контекстом дискурсивных событий: пласт социального контекста реализуется определенным пластом языка (дискурса). Отсюда следует, что конструируемые журналами значения (семиотическая реальность), не произвольно (случайно) соотносятся с контекстами, в которых они производятся и потребляются, но в большей или меньшей степени соответствуют тому, как позиционируют себя конкретные читательские аудитории. Используя терминологию П. Бурдье, можно говорить об определенной «степени соответствия» между значениями (семиотической реальностью), конструируемыми в журналах, хабитусом их авторов и хабитусом читательских аудиторий.

Женские журналы есть часть дискурсивного пространства, поддерживающего в социуме традиционные (патриархатные) представления о женственности; не случайно отмеченные исследователями элементы сходства анализируемых журналов определяются ключевыми элементами кодов женственности: (а) *ориентация на внешность* – оба журнала побуждают женщин к работе над своим телом и потреблению продуктов индустрии красоты (косметика, одежда и т.д.); (б) *десоциализация* – оба журнала стирают все параметры различия, кроме пола/гендера; другие же социальные переменные – социальный, экономический статус, образование, этничность практически не эксплицируются, размывая более широкий социальный контекст; (в) *персонализация* – оба журнала конструируют доверительные отношения с каждой читательницей, побуждая ее к осознанию себя «добровольным членом бесклассового сообщества красивых и успешных женщин»⁹ [Eggins, Iedema 1997: 168].

Вместе с тем, отмечаются существенные лингвистические различия между данными журналами по всем трем вышеотмеченным семантическим функциям (содержательная, межличностная, текстуальная)

⁹ Лингвистическая техника подобной «синтетической персонализации» детализируется Н. Фэрклоу на примере дискурсивного анализа современной британской прессы [Fairclough 1989] и М. Талбот – на материале журналов для девочек-подростков [Talbot 1995].

и во всех разделах (обложка, содержание, письма в редакцию, советы эксперта и пр.). Например, обложка NW, представляющая вопросы и темы данного номера, покрывает несколько различных сфер, подчеркивая, что жизнь современной женщины является разносторонней и разнообразной; тогда как обложка SHE довольно жестко фокусируется вокруг тем, связанных с романтическими или сексуальными отношениями. NW использует различные типы синтаксических конструкций (вопросы, условные придаточные, побудительные структуры), создавая эффект прямого контакта с читателем. Большинство заголовков SHE представляют собой именные словосочетания или номинативные группы, т.е. статичные лингвистические структуры, которые представляют реальность скорее как «вещи», чем как «действия». С точки зрения текстуальной функции, контраст проявляется между стремлением к тому, что является новым (NW), и стремлением показать знакомое (SHE). При этом названия обоих журналов как бы поддерживают (предписывают) преобладающие вербальные формы и модели: NW коннотирует (наряду с «новым») активность, открытость, раскрепощение, перемены; а SHE артикулирует позицию наблюдателя, имплицитно стабильность и отстраненность.

Как в заголовках, так и в текстах статей язык NW более идиоматичен, чаще используются коллоквиализмы и интенсификаты, создавая атмосферу непринужденного разговора; используется и более престижный словарь, как апелляция к предполагаемому высокому образовательному уровню читателей. Визуальные образы на обложках подчеркивают непринужденность и практичность (NW) и классическое изящество (SHE).

Сравнение разделов «Содержание» выявило не только большее разнообразие тем в NW, но и преобладание «инструктивного» жанра, побуждающего к действию (*как это сделать*). SHE чаще предлагает объяснения случившегося, нежели подсказывает, побуждает к действию. Значимым в плане приоритетов является предпочтительное употребление настоящего времени в заголовках NW (как имплицитно смыслов «вперед», «изменения», «субъективность») и прошедшего – в SHE (традиционность, стабильность, объективность).

Отмечаются также жанровые различия читательских писем в редакцию, что справедливо рассматривается как проявление редакторского стиля (ведь даже если предположить, что письма действительно написаны

читательницами, а не авторами журнала, редакция всегда имеет возможность соответствующего отбора писем для создания желаемого образа читателя). Жанр писем в NW определен как экспозиционный: структурно в нем представлены тезис, его аргументированное развитие (предоставление свидетельств в его пользу и против иной возможной точки зрения) и вывод (или повторение тезиса). При этом, как правило, письма не просто приводят данные в поддержку высказанной точки зрения, но побуждают читательниц присоединиться к ней. В SHE преобладающий жанр – иллюстративный: в письмах, как правило, описывается какое-то событие (связанное с эмоциональным переживанием, травмой) для подтверждения морального трузма и/или выражения согласия с предшествующей статьей (и подтверждающий пример из собственной жизни).

В разделе гороскопов в концентрированной форме кодируется представление астролога (т.е. журнала) об интересах и потребностях читательниц и соответствующее позиционирование. NW акцентирует качества и атрибуты женщин, которые в целом конструируются как умные и понимающие, в частности, с помощью глаголов, обозначающих ментальные процессы и чувства. В SHE акцент ставится не на качествах, а на действиях читательниц: обычно в фокусе внимания находится их взаимодействие с мужчинами. При этом предсказания жестко привязаны к традиционным группам («если вы *одиноки*», «если вы *замужем*»), что выражает общую установку журнала на поддержание традиционных социальных категорий и ролей.

Фокус NW гораздо более индивидуалистичен, о чем свидетельствует и тот факт, что герои основных статей номера в NW – это, как правило, известные личности, выступающие от первого лица и повествующие о каких-то личных проблемах или выступающие с личной оценкой событий. При этом общую направленность статей в NW исследователи характеризуют как трансгрессивную: их герои – женщины, проявляющие твердость (мужественность); отцы, в одиночку воспитывающие детей и т.п. В SHE основные статьи – это, как правило, повествование от третьего лица, интервью или описательные репортажи («вот так обстоят дела»).

Результаты своего исследования Эггинс и Иедема осмыслили через призму социосемантической теории Б. Бернстайна (1971, 1975, 1990), который выделял два типа социосемантической кодовой ориентации:

ограниченный (*restricted*) и расширительный (*elaborated*). Расширительный (или усложненный) код дает возможность вербального расширения содержательных и межличностных отношений, поощряет (содержательное и личностное) разнообразие и позволяет определенную степень социальной рефлексии. Напротив, ограничивающий код не позволяет такого расширения, подчеркивая, что социальные позиции и статусы фиксированы и не могут быть предметом переговоров. Анализируемые женские журналы имеют разную кодовую ориентацию (NW – усложненный, SHE – ограниченный), отражая различные взгляды на приемлемые и принимаемые модели поведения и типы женственности.

SHE представляет стабильный и статичный мир, в котором женщин как членов единой группы предупреждают о негативных последствиях выхода за пределы четко очерченной нормы. В NW, несмотря на видимые дискурсивные сигналы к раскрепощению, речь не идет о полной эмансипации, но лишь о трансформации жестких стереотипов женственности в пределах установленных границ. Феминистское влияние ограничивается двумя моментами: признанием, что женщина должна работать, и репрезентацией женщин как более твердых и уверенных (в том числе в сексуальных отношениях), однако при этом ни в коей мере не оспаривается центральная роль мужчины в гендерном порядке. Другими словами, наряду с призывами «меняйся», «раскрепощайся» посылаются и другие, скрытые («но делай это без реальной угрозы для *status quo*»), что предполагает постоянное «двойное прочтение» – неотъемлемый элемент усложненного кода по Бернстайну. Таким образом, речь не идет о натурализации альтернативной гендерной идеологии, а лишь о создании больших возможностей выбора для потребителей.

Работа Эггинс и Иедемы существенно расширяет представления о номенклатуре лингвистических средств создания символических гендерных смыслов: помимо лексических средств, грамматических форм и синтаксических конструкций, отмечается роль жанровых и композиционных особенностей текста в конструировании различных типов женственности.

Конструирование гендера и «социальный заказ»

Если в австралийских женских журналах конструирование женственности определяется потребительским спросом, то в исследовании

А.В. Кирилиной показано, как на конструирование гендера в исторической перспективе оказывает влияние социальный (политический) заказ. Анализировался материал двух хронологических срезов: 1) советская печать 1930 гг. и 2) современная российская пресса 1997 – 1999 гг. [Кирилина 2000(а)].

Период 1920 – 1930 гг. характеризовался стремлением советского государства к устранению асимметрии за счет вовлечения женщин в трудовую деятельность, поэтому особенно в первое послереволюционное десятилетие в печатных СМИ заметна тенденция обращения к женской аудитории. Начинают выходить женские журналы («Работница», «Крестьянка»), более мелкие местные газеты («Женщина-инструктор Всеобуча»); предпочитают избыточные формы выражения фемининности: *женщина-работница, женщина-пролетарка*. С середины 1930-х, когда в трудовой процесс было вовлечено все трудоспособное население, ситуация меняется. Общественный дискурс обнаруживает «несколько меньшее количество мовированных форм и обращений только к женщинам» [С. 49], а в СМИ отмечается тенденция акцентировать не пол передовиков производства, а их ударный труд.

Анализируя номера журнала «Советское фото» (1937 – 1939 гг.), А.В. Кирилина отмечает, что полоролевая дифференциация вербальными средствами в нем почти не выражена. Ни в одном из материалов не было обнаружено изображений женщин как слабых, болезненных и т.д.; почти не выделяется специальными лексическими и морфологическими средствами принадлежность к женскому полу, за исключением появления неологизма «хетагуровка»¹⁰ (1937г.). Отмечается также тенденция обозначения лиц по профессии во множественном числе существительными мужского рода, независимо от пола референта («редакционные работники», «представители творческой секции»), а также высокая частотность слов с собирательным значением («народ», «коллектив», «страна», «буржуазия», «люди» и т.д.) и обезличивания субъектов путем метонимических номинаций («зал», «собрание», «съезд»).

Сексуальность и телесность мужских и женских образов практически не акцентируются. Крайне редки снимки и статьи, посвященные личным отношениям; частная жизнь представлена почти исключительно сферой

¹⁰ Так называли девушек, последовавших призыву В. Хетагуровой принять участие в освоении Дальневосточного региона

материнства. Эстетизация женской внешности не характерна. В подписях под снимками в большинстве случаев указывается профессия или почетные звания портретируемых; слова, обозначающие лиц по признаку пола встречаются крайне редко.

Анализ материалов журнала «Пионер» показал, в частности, «отсутствие дидактизации пола ребенка путем разделения трудовой деятельности» [С.55]. Субъектом текстов о героическом труде и подвигах (примером для подражания) может являться любое лицо независимо от пола. Нейтрализация гендерного фактора, по мнению А.В. Кирилиной, «способствовала подавлению представления о традиционных гендерных ролях» [С. 56]. В данный период никак не демонстрировалось представление о частной сфере жизни как области женской компетенции.

В постсоветском дискурсе наблюдается обратный процесс. Отмечается, в частности, эротизация образа женщины и представление ее как сексуального объекта. Существенно изменилось в сторону андроцентризма содержание женских и мужских журналов, что подтверждают и исследования других авторов [Лу Мими 1998]. Наиболее активно освещается роль женщины как воспитательницы детей и хранительницы домашнего очага. Советы по самосовершенствованию обходят темы образования и труда, акцентируя внимание на отдыхе, развлечениях, способах повышения настроения, улучшения внешнего облика и фигуры [Письман 1997].

А.В. Кирилиной подробно анализируется функционирование гендерных стереотипов в текстах газеты «Комсомольская правда». Обращается внимание на то, при помощи каких языковых средств эксплицируются мужественность и женственность в газетных публикациях, с какими семантическими полями связана интерпретация этих образов, какие аспекты деятельности лица в его связи с полом отражаются в текстах, какие оценочные утверждения производятся о мужчинах и женщинах, в каких случаях гендерные аспекты становятся менее релевантными.

Анализ лексического окружения слов «мужчина» и «женщина» позволил каталогизировать прилагательные, наиболее часто выступающие в функции определения к данным существительным. У слова «женщина» наиболее значимы тематические группы «красота» и «сексуальность», а также суждения о возрасте, пресуппозицией которых является

общеизвестность утверждаемого («самая грустная тема для любой женщины – возраст» и т.д.). Вместе с тем отмечается разнообразие атрибутивных характеристик черт характера, представляющих женщину, с одной стороны, как человека *настырного, распутного, вульгарного, эмоционально неустойчивого, слабого и беззащитного*, а с другой – как *талантливую, серьезную, умную, смелую, добрую, заботливую, боевую, самостоятельную и т.п.* [С. 67]. Глаголы и глагольные сочетания, входящие в лексическое окружение слов, обозначающих женщин, также делятся на несколько групп: 1) семейные связи, действия, взаимоотношения (*уйти от мужа, вернуть внуков.*); 2) этическая оценка: поведение, мораль (*не опасаться за репутацию, сняться обнаженной.*); 3) эстетическая оценка: забота о внешности и сохранении молодости (*щегольнуть хорошей фигурой, стать неотразимой*); 4) собственная активность (*гонять на автомобиле, коня на скаку*).

В исследовании отмечена неоднородность лексического окружения слова «мужчина». В целом, по мнению А.В. Кирилиной, исследованный материал «не дает оснований говорить о четком мужском стереотипе». Мужчина часто соотносится с семьей, сексуальностью, заработками, а также с агрессией (*маньяк, убить жену, топить в ванной*), большой мобильностью и двигательной активностью. Интеллектуальная деятельность не акцентируется, в связи с чем обращается внимание на высокую сочетаемость прилагательного «умная» с лексемами, обозначающими женщин [С. 72]. По отношению к мужчинам слово «умный» не было зарегистрировано в данном материале. В большей степени вербализуется общественное признание (*известный, знаменитый*).

Осознавая, что результаты проведенного исследования в значительной мере определяются перспективой печатного издания, автор не делает однозначных выводов о том, в какой степени рассмотренный материал свидетельствует о типичности и/или стереотипичности данных конструкторов мужественности и женственности для массового сознания. Однако коммерческая успешность «Комсомольской правды» может, по ее мнению, рассматриваться как свидетельство интереса к рассматриваемым темам и готовности воспринимать мужские и женские образы именно в такой интерпретации. Примечательно, что подобное конструирование мужских и женских образов (особенно в части сексуализации и скандальности) вызывает активный протест со стороны определенной

части читательской аудитории «Комсомолки» в рубриках «обратной связи» (письма, интервью). Думается, в данном случае речь может идти о конфликте гендерных дискурсов советского и постсоветского периодов.

4.4.3. Гендер и социальная роль (конструирование материнства)

Датская исследовательница М. Киэр анализирует специфику конструирования материнства в медицинском дискурсе с позиций критического дискурс-анализа [Kiær 1990], где основное внимание уделяется вопросам власти и контроля в продуцировании гендерной идентичности. Мотивом к исследованию послужили ощущения Киэр, связанные с трансформацией собственной идентичности в данный период, а материалом – аудиозаписи приемов у гинеколога, визитов акушерки, занятий по подготовке в родах, а также тексты многочисленных печатных материалов, которыми снабжают будущих матерей медицинские учреждения.

Анализируя языковые маркеры агентивности и контроля, исследовательница развивает тезис о медиализации деторождения, выявляет языковые средства, с помощью которых беременность конструируется как болезнь, роды как серия медицинских процедур, необходимых для выздоровления. Сама же женщина конструируется как пациент, послушный и пассивный исполнитель рекомендаций медицинского персонала. Например, в анализируемых текстах женщина практически не вступает в функции субъекта глагола *deliver* («рожать»), а либо является объектом действий медперсонала («*we will deliver you*»), либо что-то происходит с ней. Представители медицинской профессии определяют, что такое хорошая мать, что необходимо знать о родах и ребенке, что следует считать правильным и нормальным – при этом все иное представляется как противоречащее здравому смыслу.

В брошюрах и памятках для будущих матерей женщины позиционируются как жены («*Можно ли моему мужу увидеть снимок? (УЗИ)*») и домохозяйки, которые в период беременности продолжают выполнять домашние обязанности (памятки рекомендуют начать пользоваться перчатками и попросить мужа «помогать по дому»). Примечательно, что уже через несколько лет в аналогичных печатных материалах вместо слова «муж», стали использоваться слова «отец»,

«партнер», т.е. дискурс натурализовал ситуацию, что многие женщины рожают вне брака. То, что большинство будущих матерей не являются домохозяйками, тоже более не рассматривается как противоречащее здравому смыслу: одна из памяток предупреждает женщин-фермеров, работающих с животными, об опасности контракции таксоплазмы в период беременности [Talbot 1996]. Это свидетельствует об историчности дискурса и конструируемых им позиций и отношений.

4.4.4. Гендер и коммуникативная роль

В статье Э. Охс и К. Тейлор конструирование гендерных асимметрий анализируется на примере конкретного вида коммуникативной практики: бесед членов семьи за обеденным столом [Ochs, Taylor 1995]. Анализ более сотни нарративов, записанных в семи американских (белых) семьях с двумя и более детьми, позволил выявить несколько коммуникативных ролей, релевантных для конструирования гендерной идентичности: главный герой (рассказчик), инициатор, основной получатель (информации), проблематизатор (критик) и проблематизируемый (критикуемый).

Герой-рассказчик – это тот, чьи действия (мысли, чувства) становятся темой для комментариев, суждений и оценок. Чаще всего в роли героев собственных рассказов в материалах Охс и Тейлор выступали дети; значительно реже – матери; крайне редко объектом обсуждения за семейным столом становились нарративы отца.

Инициатор задает тему и контролирует ход рассказа, нередко определяя его главную аудиторию или *основного получателя*, т.е. того, кто высказывает мнения и оценки («да что ты говоришь!», «не может быть...», «вот это да!», «не верю...»). Одним из главных выводов исследования стала роль матерей в создании и воспроизводстве гендерных иерархий в семейной практике. Анализ показал, что именно матери, иницируя детские рассказы («скажи-ка папе, что сегодня случилось в школе» и т.д.), позиционируют отца как основного получателя информации и главного семейного судью. Такое позиционирование не связано с большей/меньшей информированностью одного из родителей. Как подчеркивают Охс и Тейлор, в записанных ими беседах матери знали о произошедшем не больше, а иногда и меньше, чем отцы. Тем не менее во всем материале не было зафиксировано ни одного случая, когда бы отец позиционировал

мать как главного получателя информации («расскажи маме, как прошел твой день»). Ни один из родителей не предпринимал и попыток соответствующего позиционирования детей («дорогой/дорогая, расскажи детям, как прошел твой день»).

Анализ выявил существенные гендерные асимметрии в позициях *проблематизатора* и *проблематизируемого*. Проблематизатор (критик) – это участник разговора, который находит поступок, высказывание, мысль говорящего сомнительной, т.е. видит в ней источник возможных проблем («тебе на следовало этого делать», «ты знал и не сказал?!», «значит тебе пора худеть» и т.д.). Мужчины выступали в роли критиков в полтора раза чаще, чем женщины, и в три с половиной раза чаще, чем дети. Среди детей роль критика чаще исполняли мальчики, чем девочки. Отцы в два раза чаще были критиками, чем критикуемыми, а матери, наоборот, чаще оказывались в позиции критикуемых.

Резюмируя результаты исследования, Охс и Тейлор подчеркивают, что они касаются лишь определенного типа семейной культуры и не отражают всего возможного этнического, социального, расового и др. многообразия вариативности семейных коммуникативных интеракций. Вместе с тем, полученные данные демонстрируют, как гендерная идеология «папа лучше знает»¹¹, воплощающая культурные и политические асимметрии, подвергшиеся в последние десятилетия серьезной феминистской критике, поддерживается путем совместного (вос)производства в семейных коммуникативных практиках, оказывая существенное влияние на формирование гендерных стереотипов в процессе социализации.

Конструирование асимметричных коммуникативных ролей в жанре теледебатов анализирует Х. Коттхофф. Она выделяет «лекторство» как вид вербального поведения (деятельности), создающий для говорящего позицию эксперта, отмечая, что мужчины чаще заявляют права на эту позицию и что к мужчинам чаще обращаются за экспертным мнением, чем к присутствующим женщинам [Kotthoff 1997]. «Эксперт» концептуализируется как «релятивная идентичность», нуждающаяся в подтверждении со стороны других участников коммуникации. Исследование Коттхофф показало, что мужчины получают это подтверждение чаще, нежели женщины. Женщинам в анализируемом

¹¹ Аллюзия на комедийный сериал, популярный в США в 1950 гг.

материале обычно предлагалась роль «заинтересованного лица», даже если и мужчины, и женщины (врачи, психологи, учителя) были приглашены на передачу для того, чтобы высказать профессиональное экспертное мнение. Ведущие телепередач, как правило, обращались к участницам-женщинам как к тем, кого «волнует» или «касается» обсуждаемая тема. Таким образом, выстраивалась иерархия экспертов и заинтересованных лиц, являющаяся по сути гендерной иерархией.

4.4.5 Полифункциональность языковых форм и конструирование гендерной идентичности

Выше уже отмечалась полифункциональность языковых форм, детерминированных контекстом и ситуацией, и возможность манипуляции языковыми ресурсами с целью создания гендерных смыслов.

В работе Вивьен де Клерк анализируется роль эксплетивов (не имеющих денотативной значимости субстандартных речевых «заполнителей» разной степени сниженности) в конструировании гендерной идентичности южно-африканских подростков [de Klerk 1997].

Стереотипное представление о маскулинности в патриархатной культуре связано с «сильным» языком, частью которого являются и субстандартные эксплетивы, среди которых много табуированных выражений. Конкретные контекстуально обусловленные функции эксплетивов могут быть различными: намеренное нарушение норм, стремление шокировать собеседника, проявление неуважения к авторитету, сигнал групповой солидарности, общности интересов, знаний и т.п.

Традиционно считается, что употребление грубого языка для женщин не характерно; оно общественно порицается, хотя в исследованиях последних лет отмечается тенденция к общему снижению стилистической тональности женской речи (P. Eckert, M. Bucholtz, D. Cameron, Sh. Okamoto и др.). Напротив, для юношей (особенно в неформальном дружеском общении) употребление табуированной лексики считается проявлением уверенности, силы, символом мужества; такое речевое поведение ожидается и, более того, является частью нормы мужского внутригруппового неформального общения.

В исследовании де Клерк респондентам предлагалось (а) указать, какие эксплетивы они употребляют сами, оценив их по степени

табуированности; (б) выразить (оценить в баллах) свое отношение к лицам мужского и женского пола (разного возраста), употребляющим табуированную лексику; а также (в) представить возможных адресатов коммуникативных действий в ситуациях с использованием эксплетивов (друг, одноклассница, отец, мать, учитель и т.д.). Оказалось, что гендерная обусловленность речевого поведения не носит прямого характера; во всех случаях важную роль играют иные социальные факторы, в частности, возраст респондента и тип школы (совместного и отдельного обучения).

Анализ подтвердил высокую степень осознания юношами (15 – 18 лет) употребления эксплетивов как символа мужественности. При этом в школах отдельного обучения фактор внешнего давления, побуждающий к подобной лингвистической манифестации пола, был существенно ниже, чем в школах совместного обучения, где, по всей видимости, феномен постоянного присутствия гендерных различий создавал дополнительное давление, стимулирующее соответствие гендерным стереотипам.

Ранжирование коммуникативных ситуаций с потенциальным адресатом показало наибольшую приемлемость использования эксплетивов в общении с другом одного пола, а затем (по убывающей) с другом противоположного пола, незнакомым взрослым, отцом, матерью, учителем и т.д. Таким образом, можно говорить о ситуации внутренней цензуры – запрета на употребление эксплетивов в общении (а) с лицами, обладающими властью, и (б) с теми, кто не употребляет их.

Хотя респонденты обоего пола в целом отметили бóльшую приемлемость употребления табуированной лексики мужчинами, чем женщинами, рейтинг собственного употребления у девушек оказался намного выше, чем можно было бы ожидать. Де Клерк считает высокий рейтинг употребления девушками табуированной лексики свидетельством того, что, осознавая гендерные стереотипы, они все меньше стремятся им соответствовать. С другой стороны, существенно и число юношей, отметивших (на полях для комментариев в опросных листах) ощущение дискомфорта и вынужденности при употреблении табуированной лексики.

Таким образом, один и тот же языковой ресурс транслирует разные гендерные смыслы: если для женщин употребление грубой лексики может быть формой протеста против гендерных стереотипов, то для мужчины протестом является неупотребление эксплетивов.

Исследование В. де Клерк показывает, что конструирование гендерной идентичности – это не автоматический ритуал копирования и соответствия, а динамический процесс, обусловленный разнообразными социальными факторами. Этот вывод подтверждает и работа Дж. Пуджолара [Pujolar 1997].

Исследование Пуджолара проводилось в Испании, где после смерти генерала Франко, в годы правления которого преследовалось публичное использование каталанского языка, правительство учрежденной в 1980 году автономии перевело обучение в школах на каталанский язык. Объектом исследования было речевое поведение двух групп молодых людей («рамблерос» и «трепас») из рабочих кварталов Барселоны, школьные годы которых пришлись на данный период.

Выводы Пуджолара носят комплексный характер и касаются широкого спектра языковых, мировоззренческих, этнокультурных и поведенческих вопросов, в центре которых находится тема гендерной идентичности. Он, в частности, проблематизирует оппозиционность традиционной трактовки мужской и женской речевых культур, когда концептуальным противоположением женской заботливости и сотрудничества является мужская иерархичность и агрессивность, и показывает, что мужчинам столь же свойственно проявлять заботу, заинтересованность и строить отношения личной близости, однако в менее прямой форме, как правило, через совместные действия, связанные с увлечениями, хобби, игрой и т.д.

Особо подчеркивается вариативность мужской идентичности, многоголосие (по Бахтину) ее речевого выражения и невозможность характеристики гендерной субъективности в терминах фиксированных значений, жестко приписываемых мужским и женским коммуникативным интеракциям.

Маскулинность рамблерос Пуджолар характеризует как «упрощенную (*simplified*) маскулинность», для которой характерны стереотипное видение мужественности, основанное на эксплуатации значений риска/угрозы как лицу (по Браун, Левинсон), так и телу, что в поведенческом плане проявляется в потасовках, оскорблениях, злоупотреблении алкоголем, наркотиками и пр. Политизированная идентичность трепас связана с их левыми политическими убеждениями, членстве в антивоенных и феминистских организациях, неприятию всех

форм насилия и трансгрессивных установках, связанных с неподчинением общепринятым стандартам поведения и внешности т.п.

Среди языковых форм манифестации гендерных предпочтений обеих субкультур Пуджолар выделяет использование табуированной лексики (рамблерос) и городского просторечия с элементами панк-жаргона (трепас), эксплуатацию диалектных акцентов (андалузского) и кодовые переключения между испанским и каталанским. При этом он опирается на диалогическую концепцию языка М. Бахтина, где каждая языковая манифестация может быть понята лишь с учетом диалогического культурного контекста, как отклик на предыдущие высказывания и в то же время предвидение новых реакций (ср. реитерации и цитации у Дж. Батлер).

Например, в речи мужчин-рамблерос обычно представлен типичный южно-испанский андалузский акцент, для которого характерно придыхание в невзрывном «-s» или опущение этого звука в конечной позиции, а также определенный музыкальный тип интонации. В Каталонии андалузский акцент обычно ассоциируется с крестьянскими или низшими слоями рабочих и коннотирует определенное мировоззрение: позицию «простого человека», живущего «простыми истинами». Данная установка у рамблерос проявляется также в намеренном дистанцировании от стандартных (формальных) языковых форм, снижении (огрублении) языка и поддразнивании тех, чья речь претендует на правильность. Свои суждения (смесь левых взглядов и расизма) рамблерос обычно выражают в намеренно упрощенной, непритязательной форме как простой факт личных предпочтений.

В речи трепас андалузский акцент использовался как средство представления (драматизации) невежественности, неграмотности, невоспитанности, а также как инструмент протеста – отрицания ценностей «упрощенной маскулинности» рамблерос. Так, в группах трепас сурово критиковались мужчины, допускающие физическое насилие и сексуальные домогательства в отношении женщин, а речь этих лиц имитировалась использованием андалузского акцента. Другими словами, «присвоение» андалузского акцента сигнализировало неприятие сексистских взглядов и поведения. Речевая культура трепас также включала черты более стандартной (правильной речи), риторику левых общественных и политических групп, языковую образность городского жаргона, что

создавало эффект культурного многоголосия – полифонический речевой стиль, воплощающий определенный тип идентичности.

Существенные различия в плане конструирования разных форм маскулинности выявил и анализ кодовых переключений между испанским и каталанским. Использование каталанского, изначально коннотировавшего одинаковые значения сухости, правильности, назидательности, традиционной добропорядочности и ингерентной немужественности, приобрело совершенно различные смыслы для представителей обеих групп. Рамблерос активно избегали любого использования каталанского, даже декларируя позитивное отношение к каталонцам и Каталонии: использование второго языка воспринималось ими как двусмысленность, противоречащая ценностям подлинной, «простой» и непритязательной мужественности. В речи трепас, в силу их приверженности «уважению всех культур» и политической поддержки самоопределения Каталонии, сформировались иные тенденции, характеризующиеся стремлением к преодолению стереотипов в использовании каталанского и восприятию его как слишком правильного и навязанного сверху (школой, государством).

Таким образом, сопротивление каталанскому (как и андалузский акцент) напрямую связаны с идеями «упрощенной маскулинности» и сексизма, которые характерны для мужчин-рамблерос с их культом тела, физической силы, гетеросексуальности и гомофобии и проявлениями трансгрессивности в форме речевой грубости, приверженности алкоголю, наркотикам и пр. Более эгалитарная идеология трепас, в том числе в плане гендерного дисплея (культурных кодов мужественности и женственности), явилась фундаментом для трансформации конвенций выбора языковых форм, в результате чего использование каталанского стало одним из инструментов конструирования *иного* типа мужественности.

4.4.6. Гендер и власть

В исследовании С. Кислинга показано, как аналогичные языковые ресурсы могут использоваться во внутригрупповом мужском общении для конструирования различных типов мужественности [Kiesling 1997]. Его результаты основаны на этнографическом исследовании речевых практик членов мужской студенческой организации (братства – *fraternity*) в одном из американских университетов. Кислинг показывает, как идеология

организации и непосредственная речевая ситуация определяют (само)презентацию индивида в конкретном речевом событии.

Кроме конверсационного анализа существенную ценность, на наш взгляд, представляет предлагаемая автором трактовка понятия власти, открывающая новые возможности для его использования в лингвистическом описании. Кислинг говорит о различных способах создания сильной позиции (власти). Взяв за основу концепцию М. Фуко, он адаптирует его теорию применительно к своему материалу и выделяет несколько типов власти, основанных на занимаемых/выполняемых индивидом ролях: (а) власть физическая (принуждение и возможность); (б) власть экономическая; (в) власть, основанная на знании; (г) власть структурная (основанная на месте в иерархии); (д) власть/влияние наставника; (е) идеологическая власть и (ж) власть образа/манеры поведения¹² [Kiesling 1997: 68-70].

Рамки нашей работы не позволяют подробно остановиться на всех аспектах исследования, где он анализирует выступления членов организации на общем собрании, обсуждавшем кандидатуры на выборную должность «корреспондента», в обязанности которого входит поддержание связи с национальной организацией через письма, публикуемые в национальном журнале. Кислинг рассматривает речевые стратегии и выбор языковых средств, показывая, как они связаны со статусом говорящего в организации, идеологией братства и идентичностью каждого из выступавших.

В выступлении новичка, недавно ставшего членом братства, акцентируется обоснование внесенного предложения. Тем самым говорящий признает, что его статус в организации недостаточно высок для того, чтобы его мнение считалось авторитетным само по себе. Чтобы склонить на свою сторону голосующих, он апеллирует к своему знанию: подчеркивает достоинства/умения выдвигаемого кандидата; ссылается на то, что хорошо с ним знаком (вместе учились в школе), читал его письменные работы и т.д. Собственное мнение он выражает в смягченной форме («как я думаю...»), использует сослагательное наклонение,

¹² Иллюстрацией данного типа власти может служить, например, отмеченное С. Табуровой частое использование мужчинами-депутатами бундестага так называемых «экспрессивов», под которыми понимаются специфические речевые акты, не посвященные какой-либо определенной теме, а совершаемые из желания понравиться, пошутить, реализовать хорошее/плохое настроение («Спасайся, Зигхаммер идет!» и т.п.) [Табурова 2000].

оформляя свое предложение как возможность («он справился бы хорошо»), а не факт («он справится хорошо»). Использование структурного осложнения (повтор аргументации в придаточном причины – «потому что он здорово умеет писать») – это признание того, что просто мнения новичка недостаточно, нужна дополнительная мотивировка (чего старшим членам организации не требуется). Таким образом «власть» новичка (т.е. то, что дает ему право вступать и высказывать/вносить предложение) строится на знании: он дает понять, что основывает свое предложение на достоинствах кандидата, а не просто на своем мнении.

Второй выступающий, ветеран братства, конструирует власть (значимость своей роли) иным способом. Он выдвигает в качестве кандидата новичка, у которого есть проблемы и которого иначе братство «может потерять», тем самым создавая собственный образ «мудрого старшего». Предлагаемого кандидата он называет снисходительно по-отечески «паренек» («*kid*») и акцентирует свой статус более опытного («если ему подсказать»), тем самым выражая готовность выступить в роли наставника. Высказывается прямо и директивно («я не хочу»); берет на себя право говорить от имени всех («нам нужно его вовлечь»), правда в смягченной форме («я считаю, что»).

Еще один ветеран, занимающий заметное место в иерархии братства, позиционирует себя как авторитетную личность, чьи слова важны сами по себе. В его выступлении нет обоснований своего мнения, что является сигналом высокого статуса (достаточно просто сделать заявление). Он указывает присутствующим на правильное, с его точки зрения, решение без смягчающих формул («нам следует», а не «я думаю, что нам следует»). Мнения представляются в форме аксиом («есть обязанности, с которыми справится любой»). Иные модальные маркеры («может справиться» и т.д.) имплицировали бы возможность для голосующих другой точки зрения, но в данной формулировке им не оставлено такой возможности. Императивный и инструктивный тон ставит говорящего в позицию структурной власти: он конструирует роль старшего, влиятельного и умного манипулятора – даже провидца («я вижу [на этом посту. – Е.Г.] Курта»). Свой статус данный член братства сигнализирует и невербальными средствами, занимая одно из крайних правых мест в правой части зала, где обычно сидят ветераны.

Таким образом, используя аналогичные ресурсы три ветерана организации конструируют различные типы идентичности с опорой на разные типы власти (авторитета). С учетом этого, автор исследования выражает сомнение в перспективности описания речи мужчин в целом (как монолитной группы), подчеркивая, что использование языковых ресурсов всегда контекстуально обусловлено и связано не только с гендером, но и другими социальными параметрами.

2.4.7. Гендер и статус

В исследовании Шигеко Окамото, использующей классический социолингвистический подход, представлены эмпирические данные вариативности в языке современных японских женщин, свидетельствующие о том, что так называемый «женский язык» есть культурно и идеологически сконструированная классовая норма, слишком статичная и монолитная, чтобы объяснить фактическое разнообразие женских речевых практик. В японском языке традиционные мужской и женский стили характеризуются гораздо более высокой и жесткой специфицированностью, чем в европейских языках. Наиболее яркие различия касаются форм самореференции и обращений, завершающих предложение частиц, маркеров вежливости/почтения, высоты тона и интонации. Женский язык, в отличие от мужского, характеризуется как вежливый, мягкий, некатегоричный и эмпатический (сопереживающий). Однако в последние годы все чаще отмечается, что молодые японки отходят от традиционных норм женского языка и начинают «говорить как мужчины» [Okamoto 1995: 298].

Ш. Окамото анализирует аудиозаписи неформальных бесед десяти токийских студенток (представительниц среднего класса) с целью выявления индикаторов мужской/женской речи в форме завершающих предложения частиц (модальных маркеров), которые представляют собой гендерно-нейтральные формы или умеренные и слабые индексы маскулинности и фемининности. Исследование показало, что большинство участниц эксперимента чаще всего прибегали к нейтральным формам; лишь в речи двух из них преобладали «мужские» маркеры. При этом используемые в речи «женские» формы, как правило, относились к умеренным сигналам фемининности. Сильные женские формы составляли лишь 34% от всех женских маркеров. Частица *wa* (с подъемом интонации)

и ее варианты, признаваемые в специальной литературе наиболее типичным маркером фемининности, использовалась во всем материале лишь дважды.

Характерно, что индикаторы «женского» языка чаще всего возникали в тех фрагментах беседы, где речь шла о женщинах более старшего возраста (матери, женщины-профессора в университете и т.д.). 93% «мужских» маркеров относились к сигналам умеренной маскулинности. Таким образом, в целом стиль речи участниц эксперимента характеризовался не как женский, а скорее как нейтральный с умеренной маскулинностью.

Сопоставляя полученные результаты с аналогичными исследованиями по нескольким возрастным срезам, Ш. Окамото фиксирует значительное увеличение «женских» признаков в речи представительниц старшего поколения и существенную статусную дифференциацию – более «женственную» речь домохозяек по сравнению с представительницами разных профессий. Отмечается также, что в региональных диалектах гендерная специфика проявляется гораздо меньше, чем в стандартной форме, что, по мнению исследовательницы, обусловлено историческими причинами. Нормы женской речи сформировались в 19 веке, в эпоху стандартизации японского языка, на основе традиционного стиля представительниц токийского диалекта *Yamanote kotoba* – рафинированного, формального языка высших и средних классов, «белых воротничков», противопоставленного «грубому», «прямому» и «вульгарному» *Shitamashi kotoba*, на котором говорила другая часть Токио (купцы, ремесленники, мелкие предприниматели). Современные представления о японских женщинах Окамото считает историческим наследием XIX века, эпохи становления государства и индустриализации, когда японское правительство и интеллектуальная элита продвигали образ идеальной женщины и матери (*ryoosai kenbo*) и так называемый «женский язык» («естественная» речь токийской элиты) стал одной из проекцией этого идеала. Таким образом, по мысли Окамото, понятие «женского языка» как идеологический и культурно-исторический конструкт никогда не отражало особенностей речи всех японских женщин.

Важным, по ее мнению, вопросом являются причины использования или неиспользования японками традиционно женских форм и стоящие за этим прагматические значения вежливости, мягкости, эмпатии, которые в

свою очередь (метафорически) экстраполируются на «предпочтительные образы мужчин и женщин» и, тем самым, «мотивируют их диверсифицированное употребление мужчинами и женщинами» [Ochs 1993: 151]. Окамото подчеркивает, что выбор речевого стиля или той или иной языковой формы может носить вполне осознанный характер. Профессиональная деятельность в различных сферах (политике, бизнесе, образовании) подталкивает к дефеминизации женской речи и выбору более прямого и уверенного стиля общения или к компромиссной комбинации разных стилей. Например, Дж. Смит (Шибамото) рассматривает два варианта речевых стратегий, используемых японскими женщинами-руководителями: «голос матери» (*motherese*), использующий инструктивные и поощряющие модели, характерные для общения матери с детьми, и голос «пассивной власти» (*passive power*), основанный на непрямых директивах [Smith 1992].

Идентичность формируется в социальном контексте. Речевой стиль японских женщин (как и представительниц других языковых сообществ и культур) реализует их видение себя – как молодых, незамужних, домохозяек, матерей, менеджеров и пр. «Неженские» маркеры в неформальном общении молодых японок, по их собственному признанию, коннотируют молодость и легкость, служат отличием от женщин старшего поколения и сигналом внутригрупповой солидарности. «Женские» маркеры в речи молодых домохозяек – символ соответствия желаемому образу традиционной женственности. Школьницы же, употребляя применительно к себе «мужское» местоимение *boku* объясняли это тем, что если они будут назвать себя «женским» местоимением *atashi*, то не смогут «соревноваться с мальчиками» за успех, хорошие оценки и пр. Таким образом, символические формы мужественности и женственности конструируют гендер и статус.

4.4.8. Гендерные аспекты самоидентификации

О том, что «мужское» могло стать частью самоидентификации женщины еще в прошлом веке, пишет И.Л. Савкина, анализирующая в статье «Идентичность и модели женственности в дневнике “приживалки” (Елисавета Попова. Из московской жизни сороковых годов)» саморефлексию женщины, волею судьбы оказавшейся в подобной роли [Савкина 2002]. Мужское и женское в комментариях диаристки предстают

резко противоположными, причем первое маркируется позитивно, а второе – негативно. Хотя ее отношение к конкретным женщинам, поименованным в дневнике, вполне благоприятно, когда речь заходит о «женской природе», женщинах *вообще*, они характеризуются как завистливые, ветреные, суетные, тщеславные, надменные, эгоистичные. Воплощением «женской сущности» является в дневнике некая, не называемая «одна женщина», которая по ходу повествования приобретает негативно-типические черты.

В дневниковых записях diarистка не отождествляет себя с женскостью, как она ее понимает, а выстраивает свою идентичность в отталкивании от нее. Она относит себя к Сынам Отечества, солдатам православного воинства; давая самоопределения, использует мужской род, именуя себя «любитель Русского», «простой человек, дурак», «человек старый, простой мало верящий жєнщинам и любящий сердечно все русское» [С. 276]. С другой стороны, почти все прямые или косвенные самоопределения в женском роде полны негативного смысла - *сиделка, шутиха, гувернантка, приживалка, «невольница бедности»*.

По мнению И.Л. Савкиной, маргинальность социального положения diarистки (ее бедность, непристроенность, невозможность легализовать свой статус через социально значимого мужчину – мужа, отца и т.п.) делали ее положение внутри традиционного женского общества того времени проблематичным. Одним из способов преодоления этой дефектности становится включение себя в идеологизированный мужской дискурс адептов славянофильства. Как полагает исследовательница, пафосный витиеватый стиль многих записей дневника может восприниматься как своего рода «чужое» слово, употребляя которое в качестве своего (дневникового), «усваивая и присваивая его», автор совершает акт самоутверждения в качестве одного из тех, кого именует «*милыми братьями по любви к Москве*» [С. 277].

Однако и традиционные женские роли, прежде всего роль матери, занимают важное место в процессе ее самоидентификации. Например, В. Панова diarистка называет «милым сыном», а в ситуации с его женитьбой описывает себя не только как старшего друга и «*столетнего знакомого*» Панова, но и как заместительницу матери: «*Я перекрестила его: пусть будет с ним сердечное благословение: у него нет даже матери*» [С. 278].

Еще сильнее материнский дискурс обнаруживает себя в описании отношений с Ф.Б. Тидебелем, с которым Попова активно переписывается и даже едет повидаться в Воронеж, куда он получает назначение. Легитимация собственных чувств и мотивов поездки – это подчеркивание своего пожилого, сексуально безопасного статуса. Она называет Тидебеля не только «сын мой», но и «внук мой», «дорогой внук», создавая роль матери или бабушки, «усыновившей сироту», о котором никто другой не проявляет заботы. При этом не раз подчеркивается, что ее чувства «чисты», это «чистая любовь», ее «намерение чисто», и эти обращенные к себе уверения в непорочности, как и эротические коннотации в описании дней, проведенных в Воронеже, показывают, что в чувстве диаристки к Тидеделю соединяются роли матери и возлюбленной. Разыгрывая эти роли, она создает свое «я», которого, по словам И.Л. Савкиной, «нет во внешнем мире <...> , но оно существует и осуществляет себя в процессе само(о)писания».

С позиций «коммуникативной игры» анализирует языковую личность женщины-политика О.С. Иссерс. Материалом для анализа стали интервью Любове Слиски, вице-спикера Государственной думы, опубликованные в «Комсомольской правде» [Иссерс 2002]. К составляющим коммуникативного портрета личности (средствам конструирования идентичности) О.С. Иссерс относит тип самоподачи (прямая/косвенная, игра на повышение/понижение); уровень тактичности (заинтересованность/ незаинтересованность в сохранении лица собеседника); уровень контроля за эффективностью общения и коммуникативного давления (осознанность выбора речевых тактик, управление фреймом ситуации и др.); степень внимания к языковой форме; способ подачи информации (гипер/гипоинформативность, соотношение общей и частной информации); набор типичных речевых «масок» (ролей). Ряд речевых тактик и приемов исследовательница квалифицирует как гендерно специфичные.

К специфике презентации женщины-политика О.С. Иссерс относит, в частности, серьезное отношение к слухам о себе, включая в набор речевых тактик прямой самоподачи: (а) речевые тактики опровержения слухов и их прогнозирование («я про себя такое слышала!», «я что, ненормальная, - из 5-комнатной в 3-комнатную переезжать, чтобы завтра во всех газетах фельетоны появились»); (б) акцент на качествах женщины-

хозяйки (тактика уступки: «хоть я и политик, но обязанности жены выполняю»); (в) косвенная самоподача с позитивной оценкой собственной внешности («... ко мне [на приеме. – Е.Г.] подошел один министр и шепнул: “Знаете, что нельзя быть на свете красивой такой”») и т.п. Признание в неумении рассчитать деньги и невозможности экономить на типично женских потребностях трактуется как гендерно маркированный прием в рамках игры на понижение («Деньги уходят на еду, прически и маникюр»).

Отмечаются также особенности женского речевого поведения, задаваемые ролевой позицией. По наблюдениям О.С. Иссерс, традиционно женская для России профессия педагога и социально-биологическая роль матери «формируют у женщины-политика тип речевой коммуникации, маркированный в плане дидактический интенций» [С. 176]: («*посмотрите, что они творят в Думе*» <...> «... где же их партийная чистота?», «*Один из наших депутатов выкинул номер...*», «*Стыд!*») и т.п.).

Одной из составляющих коммуникативного портрета является уровень тактичности. Как указывает О.С. Иссерс, в ситуациях, когда есть вероятность задеть (смутить, обидеть и т.д.) партнера по коммуникации, для женщины-политика типично стремление избежать конфронтации. В этой связи характерны фразы «*не стоит торопиться*», «*есть другие приемы*» и т.д. Данный вывод созвучен наблюдениям Д. Таннен и Ш. Кендал над речевым поведением в ситуациях профессионального общения, где «женщины-руководители обычно отдавали распоряжения в форме, которая не угрожала лицу подчиненных» [Kendal, Tannen 1997: 103]. Примером подобного речевого маневрирования является и фраза из интервью замминистра вооруженных сил Л.И. Куделиной («Известия» 6.03.04), которая на вопрос, как ей удастся командовать несколькими сотнями генералов, ответила: «Я ими не командую, а просто требую исполнения». Представляется, что в этих случаях речь следует вести не только (и не столько) о стремлении сохранить лицо адресата, сколько заботой о собственном лице – стремлении соответствовать ожиданиям социума, конструируя гендерную идентичность в духе традиционных представлений, согласно которым женщина не должна быть резкой, авторитарной.

Выше уже отмечалась ограниченность трактовки гендерных особенностей речевого поведения в терминах бинарных оппозиций.

Попытка создания коммуникативного портрета в рамках дихотомии мужского и женского чревата сползанием в «зал зеркал», где (вос)производятся научные стереотипы о гендере. В этом смысле уязвим, на наш взгляд, вывод О.С. Иссерс о том, что «мужское и женское речевое поведение существенно различаются по “плотности” передаваемой информации», когда та или иная мысль «в женском политическом дискурсе обрастает деталями нехарактерными для информационного сообщения в мужском политическом дискурсе» [С. 177]. Представляется, что тезис о гиперинформативности как специфике женского речевого поведения не учитывает вариативности, связанной с темой (есть темы и контексты, где мужчины гораздо более словоохотливы), личностью и темпераментом говорящего, а также другими возможными характеристиками ситуации и участников общения.

Представленный выше обзор демонстрирует разнообразие направлений, в рамках которых ведется изучение языкового конструирования гендера (социальная семиотика, дискурс-анализ, вариационистская и интеракциональная социолингвистика, этнография речи, прагматика и пр.). Предметом изучения является как (вос)производство гендерной идентичности в фактических актах коммуникации, так и «вторичное» конструирование гендера в художественных и медиа-текстах. Исследования наглядно демонстрируют многомерность и динамичность культурных конструкторов мужественности и женственности, их зависимость от ситуативно-прагматического контекста: влияние социально-политического заказа, потребительского спроса, возрастного, социального и др. статусов коммуникантов. Работы последнего десятилетия существенно расширяют представления о номенклатуре языковых средств конструирования гендера: гендерно значимыми могут быть жанровые особенности текста, его композиционная структура, коммуникативные позиции участников интеракции, грамматические формы, синтаксические структуры, прагматические стратегии и тактики, семантические и стилистические параметры языковых форм. При этом гендерные смыслы не «заложены» в тексте, а создаются в дискурсе - в интерпретативной деятельности коммуникантов.

Вопросы:

1. Расскажите об идеологических парадигмах дефицитности, доминирования и различия и об их роли в интерпретации результатов гендерных исследований в лингвистике.
2. В чем причина и сущность «научных» стереотипов о языке и гендере?
3. Назовите основные различия между эссенциалистским и пониманием гендера и его трактовкой в рамках социального конструктивизма?
4. Раскройте содержание понятий «конструирование» и «практика» применительно к гендерным исследованиям.
5. Каковы основные принципы современного подхода к изучению языка как средства конструирования гендера?
6. Приведите примеры исследований, подтверждающих, что гендер – это культурный конструкт, поддающийся манипулированию и моделированию
7. На примере исследований отечественных и/или зарубежных авторов проиллюстрируйте взаимодействие таких социопараметров, как гендер и статус, гендер и возраст.
8. Приведите примеры маркеров «мужской» и/или «женской» речи в различных лингвокультурах.
9. Подтвердите примерами из работ российских и зарубежных лингвистов множественность, идеологичность и историчность гендера как социкультурного конструкта.
10. Лингвистические единицы каких уровней могут участвовать в практиках (само)идентификации субъекта?

Заключение

Признание динамической и контекстуальной природы языковых значений заставляет критически переосмыслить ранние гендерные исследования, где гендерная идентичность «считывалась» с лингвистических форм. Интерпретация результатов этих исследований проводилась в рамках конкурирующих идеологических парадигм (дефицитность, доминирование, различие), анализ которых демонстрирует, как осмысление эмпирических данных в социальных науках происходит на основе идеологически ориентированных предпочтений, включая мнения и убеждения о «естественном» характере гендерных различий и отношений в профессиональной деятельности, бытовом общении и иных сферах коммуникации.

Для многих исследований 1970 – 80-х гг. характерно не только эссенциалистское понимание мужественности и женственности как набора внутренне присущих индивиду черт (данных природой или сформировавшихся в процессе социализации), но и упрощенное понимание гендерного доминирования, недооценка роли контекста в создании гендерных смыслов, игнорирование социальных причин и следствий гендерных различий в коммуникации и абсолютизация дихотомии «мужское – женское».

Наиболее существенными методологическими заблуждениями, ведущими к (вос)производству «научных» стереотипов о языке и гендере, являются амплификация статистически незначительных результатов, универсализация (обобщение результатов конкретных, узконаправленных исследований за пределы экспериментального контекста), а также анализ гендера в отрыве от других аспектов социальной идентичности.

Осознанию и преодолению этих недостатков способствовали дискурсивный и перформативный «повороты» в лингвистическом изучении гендера. Первый характеризовался уходом от соотнесения языковых форм (слов, фонем, грамматических конструкций и пр.) с социальными группами говорящих и переключением внимания на гендерные аспекты дискурса, что акцентировало исторический и динамический аспекты языка, а также интерактивный характер его использования. «Дискурсивный поворот» не означает игнорирования языковых единиц (фонем, слов), но требует, чтобы они рассматривались с

учетом функций, выполняемых ими в конкретной ситуации общения; при этом предполагается, что сами единицы не являются застывшими и неизменными. «Перформативный поворот» означает новое понимание гендерной идентичности, осознание того, что гендер – это не то, что индивид имеет, а то, что он/она делает. С этой точки зрения, гендер не просто существует, а постоянно производится, воспроизводится, а также меняется в результате конкретных действий индивидов, заявляющих свою идентичность, признающих или оспаривающих идентичность других, поддерживающих или выступающих против определенных систем гендерных отношений, привилегий, идеологий. «Перформативный поворот» в исследованиях языка и гендера побудил многих ученых переосмыслить знакомые категории «мужчина» и «женщина» и обратиться к изучению того, как гендерные идентичности (традиционные и противоречащие привычным нормам) конструируются в конкретных языковых перформациях. «Мужские» и «женские» языковые формы, таким образом, отделяются от реальных мужчин и женщин и осознаются как лингвистические ресурсы конструирования гендера в социальной практике.

Методологически такое смещение акцентов обусловило переход от масштабных количественных исследований, соотносящих те или иные языковые маркеры с полом, к изучению конкретных лингвистических практик (локальных исследований в виде небольших описаний совместной деятельности людей) что, однако, не означает, что изучение гендера в целом приносится в жертву анализу отдельных его проявлений. Динамика микроуровневых коммуникативных интеракций делает понимание глобальной картины более точным и полным. При этом исследователи не исходят ни из константных различий между мужскими и женскими стилями, ни из того, что язык является важнейшим фактором регулирования общения. В центре внимания находится вопрос о том, как различаются механизмы приписывания значения в конкретных ситуациях общения и какие нюансы вносит гендер в этот процесс. Гендер, в свою очередь, трактуется как опосредованно развивающаяся категория идентичности, интегрированная в формирование других аспектов социальной идентичности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арутюнова, Н.Д. Дискурс / Н.Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева.. – М. Изд-во «Советская энциклопедия», 1990 (б). – С. 136 – 137.
2. Арутюнова, Н.Д. Язык и мир человека / Н.Д. Арутюнова. – М.: Школа Языки русской культуры, 1998. – 896 с.
3. Барон Б. «Закрытое общество»: Существуют ли гендерные различия в академической профессиональной коммуникации? / Пер. с нем. М.В. Томской // Гендер и язык / Московский гос. лингвистический ун-т; Лаборатория гендерных исследований. – М.: Языки славянской культуры, 2005. – С. 511 – 538.
4. Баранов, А.Н. Лео Вайсгербер в когнитивной перспективе / А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский // Известия АН СССР. Сер. литературы и языка, 1990. – Т. 49. – № 5. – С. 451 – 458.
5. Барт, Р. Текстовый анализ / Р. Барт // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1980. – Вып 9: Лингвостилистика / Под ред. В.Н. Попова. – С. 307 – 312.
6. Бенвенист, Э. Общая лингвистика (пер. с фр.) / Э. Бенвенист. – Благовещенск: Благовещенский гуманитарный колледж им. И.А. Бодуэна де Куртене, 1988. – 362 с.
7. Гак, В.Г. Лексическое значение слова / В.Г. Гак // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – С. 261 – 263.
8. Городникова, М.В. Гендер в коммуникативной интеракции / М.В. Городникова // Гендер: Язык. Культура. Коммуникация: Докл. Второй международной конф., Москва 22 – 23 ноября 2001г. – М., 2002. – С. 70 – 77.
9. Горошко, Е.И. Особенности мужских и женских вербальных ассоциаций / Е.И. Горошко // Гендер: Язык. Культура. Коммуникация: Доклады Второй международной конф., Москва 22 – 23 ноября 2001г. – М., 2002. – С. 77 – 86.
10. Гриценко Е.С. Язык как средство конструирования гендера. – Дис. ...

- докт. филол. наук. – Нижний Новгород 2005. – 405с.
11. Гумбольдт, В. фон. Избранные труды по языкознанию (пер. с нем.) / В. фон Гумбольдт. – М.: Прогресс, 1984. – 397 с.
 12. Двинянинова, Г.С. Комплимент как коммуникативная стратегия и прагматическая тактика в англоязычном дискурсе (гендерный аспект) / Г.С. Двинянинова, И.С. Морозова // Гендер: Язык. Культура. Коммуникация: Докл. Второй международной конф., Москва 22 – 23 ноября 2001г. – М., 2002. – С. 118 – 126.
 13. Ёсиказу, К., Культурные сценарии комплиментарности в английском и русском языках / Кавагути Ёсиказу, Ю.А. Михайлова, // Теория и практика лингвистического описания разговорной речи: Межвуз. сб. науч. тр. – Н. Новгород: Изд-во НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 2003. – Вып 22. – С. 104 – 115.
 14. Звегинцев, В.А. Язык и лингвистическая теория / В.А. Звегинцев. – 2-е изд. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 248 с.
 15. Зубкова, Л.Г. Язык как форма. Теория и история языкознания: Учебное пособие / Л.Г. Зубкова. – М.: Изд-во РУДН, 2003. – 237 с.
 16. Иссерс, О.С. Проблемы создания «коммуникативного портрета»: гендерный аспект / О.С. Иссерс // Гендер: Язык, Культура, Коммуникация: Докл. Второй международной конф., Москва 22 – 23 ноября 2001г. – М., 2002. – С. 172 – 178.
 17. Кандиоти, Д. Эволюция гендерных исследований. Обзор / Д. Кандиоти // Женщины и социальная политика (гендерный аспект). – М., ИСЭПН, 1992. – С. 156 – 163.
 18. Карасик, В.И. Культурные доминанты в языке / В.И. Карасик // Языковая личность: культурные концепты. – Волгоград – Архангельск, 1996. – С. 3 – 15.
 19. Кирилина, А.В. Гендер: Лингвистические аспекты / А.В. Кирилина. – М.: Изд-во «Институт социологии РАН», 1999. – 189 с.
 20. Кирилина, А.В. Гендерные аспекты массовой коммуникации / А.В. Кирилина // Гендер как интрига познания: Сборник статей / Сост. А.В. Кирилина. – М., 2000(а). – С. 47 – 80.

21. Краткий словарь когнитивных терминов / Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков. Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина / Под общ. ред. Е.С. Кубряковой. – М.: Филол. ф-т Моск. гос. ун-та, 1996. – 245 с.
22. Кубрякова, Е.С. Проблемы представления знаний в современной науке и роль лингвистики в решении этих проблем / Е.С. Кубрякова // Язык и структуры представления знаний: Сб. научно-аналит. обзоров. – М., 1992. – С. 4 – 38.
23. Лакан, Ж. Стадия зеркала и ее роль в формировании функции «я» / Ж. Лакан // Инстанция буквы или судьба разума после Фрейда. – М.: Логос, 1997. – С. 7–14.
24. Макаров, М.Л. Основы теории дискурса / М.Л. Макаров. – М.: Гонзис, 2003. – 280 с.
25. Петрова, С.Н. Когнитивная парадигма и семантика понимания / С.Н. Петрова // Мышление, когнитивные науки, искусственный интеллект. – М., 1988. – С. 119 – 130.
26. Письман, Л. Журналы для дам / Л. Письман // Женщина плюс: Социально-просветительский журнал. – 1997. – № 2. – С. 25 – 27.
27. Попова, З.Д. Очерки по когнитивной лингвистике / З.Д. Попова, И.А. Стернин – Воронеж: Истоки, 2001. – 192 с.
28. Савкина, И.Л. Идентичность и модели женственности в дневнике «приживалки» (Елисавета Попова. Из московской жизни сороковых годов) / И.Л. Савкина // Гендер: Язык, Культура, Коммуникация: Докл. Второй международной конф. 22–23 ноября 2001г. – М., 2002. – С. 274 – 280.
29. Сепир, Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии (пер. с англ.) / Э. Сепир – М.: Прогресс: Изд. группа "Универс". – 1993 – 654 с.
30. Скребнев, Ю.М. Основы стилистики английского языка / Ю.М. Скребнев – М. : Высш. школа, 1994. – 238 с.
31. Слышкин, Г.Г. От текста к символу / Г.Г. Слышкин. – М., 2000. – 128с.
32. Соссюр, Ф. Курс общей лингвистики / Ф. де Соссюр – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та , 1999 – 425 с.

33. Степанов, Ю.С. Понятие / Ю.С. Степанов // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева.– М.: Сов. энциклопедия, 1990. – 385 с.
34. Степанов, Ю.С. Константы. Словарь русской культуры: Опыт исследования / Ю.С. Степанов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Академический проект, 2001.– 990 с.
35. Табурова, С.К. Эмоции в речи депутатов бундестага: мужские и женские предпочтения / С.К. Табурова // Гендер как интрига познания: Сб. статей / Сост. А.В. Кирилина. – М.: Рудомино, 2000. – С. 186 – 191.
36. Фуко, М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности: Сборник / М. Фуко – М.: Магистериум: Изд. дом «Касталь», 1996 – 446 с.
37. Халеева, И.И. Гендер как интрига познания / И.И. Халеева // Гендерный фактор в языке и коммуникации.– Иваново, 1999.– С. 5–9.
38. Щедровицкий, Г.П. Смысл и значение / Г.П. Щедровицкий // Проблемы семантики. – М., 1974. – С. 76 – 111.
39. Aries, E. Close friendship in adulthood; conversational content between same-sex friends/ E. Aries, Johnson F. // Sex Roles. 1983. 9. P. 1185–1196.
40. Banaji, M. Implicit Gender Stereotyping in Judgements of Fame / M. Banaji and A. Greenwald / M. Banaji, Greenwald A.// Journal of Personality and Social Psychology, 1995, Vol. 68, No 2. – 181 – 198.
41. Barthes, R. Mythologies / R. Barthes – New York: Hill and Wang, 1995 (1972). – 158 p.
42. Bourdieu, P. Outline of a Theory of Practice / P. Bourdieu – Cambridge: Cambridge University Press, 1993. – 248 p.
43. Bourdieu, P. The economics of linguistic exchanges / P. Bourdieu. Social Science Information. – 1977. – № 16 (6). – P. 82 – 83
44. Brown, P. How and why are women more polite: some evidence from a Mayan Community /P.Brown // Women and Language in Literature and Society / McConnel-Ginet S., Borker R., Furman N. – New York: Praeger, 1980. P. 111 – 136.
45. Boxer, D. Social distance and speech behavior: The case of indirect complaints /D. Boxer // Journal of Pragmatics. – 1993. – № 19. – P. 103 – 125.

46. Brown, P. *Politeness: Some Universals of Language Usage* /P. Brown, S. Levinson – Cambridge: Cambridge University Press, 1987. – 345 p.
47. Bucholtz, M. *Geek the girl: language, femininity and female nerds* / M. Bucholtz // *Gender and Belief Systems: Proceedings of Berkeley Women and Language Conference* / Warner N, Ahlers J., Bilmes L., Oliver M., Wertheim S., and Chen M. – Berkeley: Berkeley Women and Language Group, 1996. – P. 119–131
48. Butler, J. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity* / J. Butler – New York and London: Routledge, 1990. – 172 p.
49. Cameron, D. *Feminism and Linguistic Theory* / D. Cameron. – McMillan Press Ltd., 1992. – 247 p.
50. Cameron, D. *Gender, Language and Discourse: A Review Essay* / D. Cameron // *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 1998. – Vol. 23. - № 4. – P. 945 – 971.
51. De Certeau, M. *The Practice of Everyday Life* / M. De Certeau – Berkeley: University of California Press, 1984. – 229 p.
52. Cheshire, J. *Present tense verbs in Reading English* /J. Cheshire // *Sociolinguistics Patterns in British English* / P. Trudgill. – London: Edward Arnold. – 1978. – P. 52 – 68.
53. Coates, J. *Gossip revisited: Language in all-female groups* / J. Coates // *Women in Their Speech Communities: New Perspectives on Language and Sex* / Coates J., Cameron D. – London and New York: Longman, 1988. – P. 94 – 121.
54. Coates, J. *Women, Men and Language: A sociolinguistic account of gender differences in communication* / J. Coates – Harlow England, New York: Longman, 2004. – 254 p.
55. Code, L. *Encyclopedia of Feminist Theories* / L. Code – Routledge, 2000. – 529 p.
56. De Fransisco, V. *The sounds of silence: how men silence women in marital relations* / V. de Fransisco // *Discourse and Society*, 1991. – № 2(4). P. 413 – 424.
57. Derrida, J. *Of grammatology* (trans. G.C. Spivak) / J. Derrida. – Baltimore: John Hopkins University Press, 1997. – 360 p.
58. Deuchar, M. *A pragmatic account of women's use of standard speech* / M. Deuchar // *Women in their Speech Communities* |/ Coates J., Cameron D. (eds). – Longman: London 1989. – P. 27 – 32.

59. Eakins, B. Sex Differences in Human Communication / B. Eakins, R.G. Eakins. – Boston: Houghton Mifflin Company, Boston. – 1978. – 217 p.
60. Eckert, P. Language and Gender / P. Eckert, S. McConnell-Ginet. – Cambridge University Press, 2003. – 366 p.
61. Edelsky C. Creating inequality: Breaking the rules in debates / C. Edelsky, K. Adams // Journal of Language and Social Psychology. – 1990. – № 9. – P. 171 – 190.
62. Eggins, S. Difference Without Diversity: Semantic Orientation and Ideology in Competing Women's Magazines / S. Eggins, R. Iedema // Gender and Discourse / Ruth Wodak. – SAGE Publications, 1997. – P. 165 – 184.
63. Fairclough, N. Language and Power / Norman Fairclough. – London and New York: Longman, 1989. – 259 p.
64. Fillmore, Ch. Topics in Lexical Semantics / Ch. Fillmore/ Current Issues in Linguistics / Roger W. Cole. – Bloomington: Indiana University Press, 1975. – P. 76 – 138.
65. Fishman, P. Conversational insecurity / P. Fishman // The Feminist Critique of Language: A Reader / Cameron D. – Longman: London 1998. – P. 253 – 260.
66. Foucault, M. The Archaeology of Knowledge and the Discourse on Language / M. Foucault – New York: Pantheon Books, 1972. – 245 p.
67. Foucault, M. The Order of Things: An archeology of human sciences / M. Foucault. – Routledge:– London and New York (repr.), 2002. – 422 p.
68. Hall, K. Lip service on the fantasy line / K. Hall // Gender Articulated: Language and the Socially Constructed Self / Hall K. Bucholtz M. – New York and London: Oxford University Press, 1995. – P. 186 – 216.
69. Hardman, M.J. The Sexist Circuit of English / M.J. Hardman // The Humanist. March – April 1996. – Vol 56. – № 2. – P. 25–32.
70. Hartman, M. A descriptive study of the language of men and women born in Maine around 1900 as it reflects the Lakoff hypotheses in «Language and Woman's Place» / M.A. Hartman // The Sociology of the Languages of American Women / Dubois B., Crouch E. – San Antonio, Texas: Trinity University. – 1976. – P. 81 – 90.
71. Hirschauer, St. Dekonstruktion und Rekonstruktion. Plädoyer für die Erforschung des Bekannten / St. Hirschauer // Feministische Studien, 1993.– № 2.– S. 55–68.

72. Holmes, J. Women's Talk: The Question of Sociolinguistic Universals / J. Holmes // Australian Journal of Communication. – 1993. – 20(3). – P. 125 – 49.
73. Holmes, J. Women, Men and Politeness / J. Holmes. – London: Longman, 1995. – 254 p.
74. Hymes, D. Models of the Interaction of Language and Social Life / D. Hymes // Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of Communication / Gumperz J. and Hymes D. – New York: Holt, Rinehart and Winston, 1972. – P. 35 – 71.
75. Goodwin, M. Directive-response speech sequences in girls' and boys' task activities / M. Goodwin // Women and Language in Literature and Society / McConnel-Ginet S., Borker R., Henley N. – New York: Praeger, 1980. – P. 157 – 173.
76. Gritsenko E., Boxer, D. What's in a (sur)name?: Women, marriage, identity and power across cultures / Elena Gritsenko, Diana Boxer // Вестник МГУ. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2005. – № 2. – С. 32 – 47.
77. Gumperz, J. Language and Social Identity / J. Gumperz – Cambridge: Cambridge University Press, 1982. – 272 p.
78. James, D., Clark, S. Women, men and interruptions / D. James, S. Clark // Gender and Conversational Interaction / Tannen D. – New York: Oxford University Press, 1993. – P. 231–280.
79. Johnson-Laird, P.N. Mental Models: Towards a Cognitive Science of Language, Inference and Consciousness / P.N. Johnson-Laird – Cambridge, Mass.: Harvard University Press; England: Cambridge University Press, 1983. – 513 p.
80. Johnstone, B. Gender, politeness and discourse management in same-sex and cross-sex opinion-poll interviews / B. Johnstone, K. Ferrara, M. Bean // Journal of Pragmatics. – 1992. – № 18. – P. 405 – 430.
81. Kendal, Sh. Language in the workplace / Sh. Kendal, D. Tannen // Gender and Discourse / R. Wodak. – Thousand Oaks, New Dehli: SAGE Publications. – 1997. – P 81 – 105.
82. De Klerk, V. The Role of Expletives in the Construction of Masculinity / V. de Klerk // Language and Masculinity / Johnson S., Meinhoff U. – Oxford: Blackwell Publishers, 1997. – P. 144 – 158.

83. Kiesling, S. Power and the Language of Men / S. Kiesling // *Language and Masculinity* / Johnson S., Meinhoff U. – Oxford: Blackwell Publishers, 1997.– P. 65–85.
84. Komarovsky, M. Functional Analysis of Sex Roles / M. Komarovsky // *American Sociological Review*. – 1950. – № 15. – P. 508 – 516.
85. Kotthoff, H. New Perspectives on Gender Studies in Discourse Analysis / H. Kotthoff // *Гендер: Язык, Культура, Коммуникация: Докл. Первой международной конф., Москва 25-26 ноября*. – М., 2001. – С. 11 – 32.
86. Kramarae, C. *Women and Men Speaking: Fundamentals for Analysis* / C. Kramarae – Rowley, Mass.: Newbury House 1981. – 193 p.
87. Labov, W. *Variation in Language* / W. Labov // *The Learning of Language*. National Council of Teachers of English / Carrol E. Reed. – New York, 1971.– P. 187–221.
88. Labov, W. The intersection of sex and social class in the cause of linguistic change / W. Labov // *The Sociolinguistics Reader: Gender and Discourse* / J. Cheshire, P. Trudgill.– London, 1998. – Vol. 2. – P. 7–52.
89. Lakoff, R. *Language and Women's Place* / R. Lakoff – New York: Harper and Row, 1975. – 83 p.
90. Lakoff, R. The way we were; or, The real actual truth about generative semantics: A memoir / R. Lakoff // *Journal of Pragmatics*. – 1989. – № 13. – P. 939–88.
91. Langacker, R. *Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 1: Theoretical prerequisites* / R. Langacker. – Stanford: Stanford University Press, 1987. – 504 p.
92. Langacker, R. *Grammar and Conceptualization* / R. Langacker – Berlin: Mouton de Gruyter, 1999. – 427 p.
93. Lapadat, J. Male versus female codes in informal contexts / J. Lapadat, M. Seesahai // *Sociolinguistics Newsletter*. – 1977. – № 8. – P. 7– 8.
94. Lee, D. *Competing Discourses. Language and Ideology* / D. Lee. – Essex England, New York: Longman, 1992. – 210 p.
95. Leet-Pellegrini, H. Conversational dominance as a function of gender and expertise / H. Leet- Pellegrini // *Language: Social Psychological Perspectives* / Giles H.R., Peters W., Smith P.M. – Pergamon Press, Oxford, 1980. – P. 97 – 104.
96. Lemm, K. Unconscious beliefs and attitudes about gender / K.Lemm, M.R. Banaji // *Wahrnehmung und Herstellung von Geschlecht (perceiving*

- and performing gender) / Pasero U. and Braun F. – Oplage: Vestdutscher Verlag 1999. – P. 215 – 233.
97. Maltz, D. A Cultural Approach to Male-Female Miscommunication / D. Maltz., Borker R. // *Language and Social Identity*. – Cambridge, Cambridge University Press, 1982. – P. 195–216.
 98. Macaulay, R. The myth of female superiority in language / R. Macaulay // *Journal of Child Language*. 1978. – № 5. – P. 353 – 363.
 99. Mandler, J. How to build a baby: II Conceptual Primitives / J. Mandler / *Psychological Review*. – 1992. – № 99. – 587 – 604.
 100. Matieu, Nicole-Claude. Sexual, sexed and sex-class identities: three ways of conceptualizing sex and gender / Nicole-Claude Matieu // *Sex in Question: French Material Feminism* / Diana Leonard, Lisa Atkins. – London: Taylor and Francis, 1996. – 216 p.
 101. McElhinny, B. Theorizing Gender in Sociolinguistics and Linguistic Anthropology / B. McElhinny // *The Handbook of Language and Gender* / J. Holmes and M. Meyerhoff (eds). – Blackwell Publishing, 2003. – P. 21 – 43.
 102. Mills, S. *Feminist Stylistics* / S. Mills – London: Routledge, 1995. – 230 p.
 103. Milroy, J. Belfast: Change and variation in an urban vernacular / J. Milroy, L. Milroy // *Sociolinguistics Patterns in British English* / Trudgill P. – Edward Arnold, London. – 1978. – P. 19 – 36.
 104. Nichols, P. Linguistic options and choices for black women in the rural South / P. Nichols // *Language, Gender and Society* / Thorne B., Kramerea Ch., Henley N. – Rowley Mass.: Newbury House Publishers, 1983. – P. 54 – 68.
 105. Nosek, B. Math = Male, Me = Female, Therefore Math \neq Me / B. Nosek, M. Banaji // *Journal of Personality and Social Psychology*. – 2002. – Vol 83. – № 1. – P. 44 – 59.
 106. O’Barr, W. «Women’s language» or «powerless language»? / W. O’Barr, B. Atkins // *Women and Language in Literature and Society* / McConnel-Ginet S. et al. – New York: Praeger, 1980. – P. 93–110.
 107. Ochs, E. Norm-makers, norm-breakers: uses of speech by women in a Malagasy community / E. Ochs // *Explorations in the Ethnography of Speaking* / Bauman R., Sherzer J. – Cambridge: Cambridge University Press, 1975.

108. Ochs, E. The “Father Knows Best” Dynamic in Dinner Time Narratives / E. Ochs, C. Taylor // *Gender Articulated: Language and the Socially Constructed Self* / Hall K. Bucholtz M. – New York and London: Oxford University Press, 1995. – P. 97 – 120.
109. Okamoto, Sh. “Tasteless” Japanese: less “feminine” Speech Among Young Japanese Women / Sh. Okamoto // *Gender Articulated: Language and the Socially Constructed Self* / Hall K. Bucholtz M. – New York and London: Oxford University Press, 1995. – P. 297 – 328.
110. Palmer, G. *Toward a Theory of Cultural Linguistics* / G. Palmer – University of Texas Press: Austin, 1996. – 348 p.
111. Parsons, T. *Family, Socialization and Interaction Process* / T. Parsons, R. Bales – London: Routledge, 1956. – 422 p.
112. Pujolar, J. *Masculinities in a Multilingual Setting* / J. Pujolar // *Language and Masculinity* / Johnson S., Meinhoff U. – Oxford: Blackwell Publishers, 1997 – P. 86–107.
113. Penelope (Stanley) Julia. *Gender marking in American English: Usage and reference* / J. Penelope (Stanley) // *Sexism and Language* / Nilsen A.P., Bosmajian H., Gershuny H.L. and Stanley Julia P. – Urbana: National Council of Teachers of English, 1977. – P. 43 – 74.
114. Romaine, S. *Communicating Gender* / S. Romaine. – New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1999. – 406 p.
115. Sattel, J. *Men, inexpressiveness and power* / J. Sattel // *Language, Gender and Society* / Thorne B., Kramarae C., Henley N. – Cambridge, MA: Newbury House, 1983. – P. 119 – 124.
116. Spender, D. *Man Made Language* /D. Spender. – 2nd edition. – London: Pandora, 1994. – 250 p.
117. Sunaoshi, Y. *Mild directives work effectively: Japanese women in command* / Y. Sunaoshi // *Cultural performances: Proceedings of the Third Berkeley Women and Language Conference* / Bucholtz M., Liang A.C., Sutton L. Hines C. – Berkeley: Berkeley Women and Language Group, 1994. – P. 678 – 690.
118. Sutton, L.A. *Bitches and Skunkly Hobags: The Place of Women in Contemporary Slang* / L.A.Sutton // *Gender Articulated: Language and the Socially Constructed Self* / Hall K., Bucholtz M. – Routledge: New York and London. 1995. – P. 279–297.

119. Talbot, M. Randy Fish Boss Branded a “Stinker”: Coherence and the Construction of Masculinities in a British Tabloid Newspaper / M. Talbot // *Language and Masculinity* / Johnson S. and Meinhof U.H. – Oxford: Blackwell. – P. 173 – 187.
120. Talbot, M. *Language and Gender: an Introduction* / M. Talbot. – Cambridge: Polity Press, 1998. – 257 p.
121. Tannen, D. *You Just Don’t Understand: Women and Men in Conversation* / D. Tannen – New York: William Morrow, 1990. – 319 p.
122. Tannen, D. The relativity of linguistic strategies; rethinking power and solidarity in gender and dominance / D. Tannen // *Gender and Discourse*. – Oxford: Oxford University Press, 1994. – P. 19 – 52.
123. Taylor, John R. *Cognitive Grammar* / J.R.Taylor – Oxford: Oxford University Press, 2002. – 620 p.
124. Turner, J.H.A. *Theory of Social Interaction* /Turner J.H. –California: Stanford University Press, 1988. – 225 p.
125. Uchida, A. When “difference” is “dominance”: A critique of the “anti-power-based” cultural approach to sex differences / A. Uchida // *The Feminist Critique of Language: A Reader* / Cameron D. – 2nd edition. – Routledge, 1998. – P. 280 – 294.
126. Van Dijk, T. Social cognition, social power and social discourse / T. Van Dijk // – 1988. – Text 9 (1/2). – P. 129 – 157.
127. Van Dijk, T. Principles of critical discourse analysis / T. Van Dijk // *Discourse and Society* 1993. – № 4(2). – P. 249 – 283.
128. Van Dijk, T. Discourse, power and access / T. Van Dijk // *Texts and Practices: Readings in Critical Discourse Analysis* / Carmen Rosa Caldas-Coultard and Malcolm Coultard. – London: Routledge 1996. – P. 84 – 104.
129. Wareing, Shan. What do we know about language and gender?: Paper presented at eleventh sociolinguistics symposium / S. Wareing – Cardiff, 1996. September 5–7.
130. West, C. Doing gender / C. West, D. Zimmerman // *Gender and Society*. – 1987. – № 1. – P. 125–151.
131. West C. Gender in Discourse / Candace West, Michelle M. Lazar, Cheri Kramarae // *Discourse as Social Interaction* / Dijk, T.A. van. – London: Sage, 1997. – P. 119 – 143.
132. Wodak, R. *Language, Power and Ideology: Studies in Political Discourse* / R.Wodak – Amsterdam: John Benjamins, 1989. – 288 p.

133. Wodak, R. Critical Discourse Analysis at the End of the 20th Century / R.Wodak // Research on Language and Social Interaction. – 1999. – № 32 (1–2). – P. 185–193.
134. Wittgenstein, L. Philosophical Investigations / L.Wittgenstein. – New York: Macmilan, 1953. – № 1. – P. 66–71.
135. Zimmerman, D. Sex roles, interruptions and silences in conversation / D. Zimmerman, C. West // Language and Sex: Difference and Dominance / Thorne B., Henley N. – Newbury House, Powley, Massachusetts, 1975. – P. 105 – 29.

СПИСОК СЛОВАРЕЙ

1. Краткий словарь когнитивных терминов / Под ред. Е.С. Кубряковой. – М., 1996. – 242 с. (сокр. КСКТ)
2. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – 282 с. (сокр. ЛЭС).
3. Словарь гендерных терминов / Под ред. А.А. Денисовой. – М.: Информация – XXI век, 2002. – 256 с. (сокр. СГТ).
4. Толковый словарь русского языка / Под ред. С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой.- М., 1991.- 917 с. (сокр. ТСРЯ).

Елена Сергеевна Гриценко

**СТАНОВЛЕНИЕ
ГЕНДЕРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ
НАУКИ О ЯЗЫКЕ**

*Учебное пособие
для студентов и аспирантов*

Редакторы: Л.П. Шахрова
Н.И. Морозова

Лицензия ПД № 18-0062 от 20.12.2000

Подписано к печати	Формат 60 x 90 1/16.
Печ. л.	Тираж экз. Заказ
Цена договорная	

Типография НГЛУ им. Н.А. Добролюбова
603155, Н. Новгород, ул. Минина, 31а